



Александр Герцен

Былое и думы

«Public Domain»

Герцен А. И.

Былое и думы / А. И. Герцен — «Public Domain»,

Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением – автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались... там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины XIX века. Роман «Былое и думы» – зеркало жизни человека и общества, – признан шедевром мировой мемуарной литературы. В книгу вошли избранные главы из романа.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	8
ГЛАВА I	8
ГЛАВА II	17
ГЛАВА III	30
ГЛАВА IV	41
ГЛАВА V	47
ГЛАВА VI	58
ГЛАВА VII	83
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	94
ГЛАВА VIII	94
ГЛАВА IX	99
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Александр Иванович Герцен

Былое и думы

Н. П. Огареву

В этой книге больше всего говорится о двух личностях. Одной уже нет, – ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она.

Искандер

1 июля 1860. Eagle's Nest Bournemouth

Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере относительно двух первых частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда, – но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок – дело не трудное; но все переплавить, *d'un jet*,¹ я не берусь.

«Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений – мне бы не хотелось стереть его.

Это не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из былого, там-сям остановленные мысли из дум. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единство есть, по крайней мере мне так кажется.

Записки эти не первый опыт. Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир – я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей!

В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности».² И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом; я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* – каких-нибудь *четырёх* месяцев... Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны... потом прошедшее потонуло в свете настоящего.

В 1840 Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечественных записках» (первую и третью), остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лет*,³ «я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили, и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее

¹ сразу (фр.).

² См. «Тюрьма и ссылка». (Прим. А. И. Герцена.)

³ Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года. (Прим. А. И. Герцена.)

и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка – эти ранние несчастья, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как внешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь».

Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время, – торопиться было некуда.

Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании «Записок одного молодого человека» и как-то случайно попал на них в British Museum'e,⁴ перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно: я так ощутительно увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнью и самим счастьем, как будто ему и конца не было. Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог ничего взять из них; они принадлежат молодому времени, они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение нейдет к моему вечернему труду. В них много истинного, но много также и шалости; сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке. На «Былом и думам» видны следы жизни и больше никаких следов не видеть.

Мой труд двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* была отстоялась в прозрачную думу – неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть *истины!*

Несколько опытов мне не удалось, – я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам узнал знакомые черты и остановился... труд мой был кончен!

Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много только *для меня одного*; может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие: это – седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.

В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко... иногда слишком широко... Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть *труд*. Труд – наша молитва. Быть может, что *плод того и другого* будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.

Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность еще не имела, то *уже* утрачено; о чем юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева.

⁴ Британском музее (англ.).

... Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет*, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье Грютли на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много – три!

Жизнь... жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметен беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около... и нет нам больше дороги на родину... одна мечта двух мальчиков – одного 13 лет, другого 14 – уцелела!

Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личной жизнью и будут ее оглавлением. Остальные думы – на дело, остальные силы – на борьбу.

Таков остался наш союз...
Опять одни мы в грустный путь пойдем.
Об истине глася неумоимо, —
И пусть мечты и люди идут мимо!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Детская и университет (1812–1834)

Когда мы в памяти своей Проходим прежнюю дорогу, В душе все чувства прежних дней Вновь оживают понемногу, И грусть и радость те же в ней, И знает ту же она тревогу, И так же вновь теснится грудь, И так же хочется вздохнуть.

Н. Огарев. «Юмор»

ГЛАВА I

Моя нянюшка и La Grande Armee.⁵ – Пожар Москвы. – Мой отец у Наполеона. – Генерал Иловайский. – Путешествие с французскими пленниками. – Патриотизм. – К. Кало. – Общее управление именем. – Раздел. – Сенатор

... – Вера Артамоновна, ну расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, – говаривал я, потягиваясь на своей кровати, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и завертываясь в стеганое одеяло.

– И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встанете, – отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне – его слушать.

– Да вы немножко расскажите, ну, как же вы узнали, ну, с чего же началось?

– Так и началось. Папенька-то ваш, знаете, какой, – все в долгий ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили, пора ехать, чего ждать, почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой.

Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный, да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил», – так у нас у всех сердце и опустилось, сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим – а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш папенька и остался у праздника, да и вы с ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такие были щедушные да слабые.

И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.

– Сначала еще шло кое-как, первые дни то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают, нет ли выпить; поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся; вот Павел Иванович⁶ говорит: «Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные», – пошли мы, и господа и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть – добрались мы наконец до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не

⁵ Великая армия (фр.).

⁶ Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца. (Прим. А. И. Герцена.)

верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем, там останемся сохранны; сели, пригрюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных, один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хват, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де каких ассигнаций или брильянтов, видит, что ничего нет, так нарочно, озорник, изодрал пеленки, да и бросил. Только они ушли, случилась вот такая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдал, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему, уцепившись за поводья, сказал: «Лошадь наша, я тебе ее не дам». Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: «Оставь лошадь, не твое дело». Куда ты! Платон выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив; лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню, должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее, измученные, не евши, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди с улицы кричат: «Выходите, выходите, огонь, огонь!» – тут я взяла кусок равендюка с бильярда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольшой жил в губернаторском доме; сели мы так просто на улице, караульные везде ходят, другие, верховые, ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка, она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас – и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, манже;⁷ они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: «*Алле, алле*»,⁸ а она их ругать, – экие, мол, окаянные, такие, сякие, солдаты ничего не поняли, а таки вспрынули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные дома, так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер...

Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы, он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав *la sua dolce favella*,⁹ обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и леванский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.

⁷ ешь (от фр. manger).

⁸ Ступай (от фр. aller).

⁹ милую родную речь (ит.).

Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней нечищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец – поклонник приличий и строжайшего этикета – явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.

Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского.

После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.

Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.

– Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина, – будет им война.

После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.

– Я пропусков не велел никому давать, зачем вы едете? чего вы боитесь? я велел открыть рынки.

Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади среди неприятельских солдат не из самых приятных.

Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:

– Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? на этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.

– Я принял бы предложение вашего величества, – заметил мой отец, – но мне трудно ручаться.

– Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?

– Je m'engage sur mon honneur, Sire.¹⁰

– Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?

– В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.

– Герцог Тревизский сделает что может.

Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.

Пожар достиг в эти дня страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносимым от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате, озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такую шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал кабалистическим словом; «Москва»; в Москве догадался и он.

Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано: «A mon frère l'Empereur Alexandre».¹¹

¹⁰ Ручаюсь честью, государь (фр.).

¹¹ Брату моему императору Александру (фр.).

Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен московским обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для большого старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.

Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.

– Что делать с вашими? – спросил казацкий генерал Иловайский, – здесь оставаться невозможно, они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.

Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.

– Сочтемся после, – сказал Иловайский, – и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог, в суете и тревоге военного времени.

Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных, – я был один, возле меня сидел пьяный жандарм.

Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его; граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку (и она цела). С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева; к нему никого не пускали; один С. С. Шишков приезжал по приказанию государя расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном; он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не выдавшись ни с кем, кроме старшего брата, которому разрешено было проститься.

Приехавши в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе (господского дома в этой деревне не было), я спал на лавке под окном, окно затворялось плохо, снег, пробиваясь в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявши, на оконнице.

Всё было в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца утром староста и несколько дворовых с поспешностью вошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтоб она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче; она не знала, что думать, ей приходило в голову, что его убили или что его хотят убить, и потом ее. Она взяла меня на руки и, ни живая ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую избу, они вошли туда; старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться; громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь.

Можно себе представить положение моей матери (ей было тогда семнадцать лет) среди этих полудиких людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов; она дни, ночи плакала после его смерти.

А дикие эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей, и староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее.

Лет через пятнадцать староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой как лунь и плешивый; моя мать угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна – вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки.

Из Ярославской губернии мы переехали в Тверскую и наконец, через год, перебрались в Москву. К тем порам воротился из Швеции брат моего отца, бывший посланником в Вестфалии и потом ездивший зачем-то к Бернадоту; он поселился в одном доме с нами.

Я еще, как сквозь сон, помню следы пожара, остававшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них.

Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было действительно самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь, дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попить на радостях победы.

Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича, он говорил с чрезвычайною живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк; но исключительное чувство национальности никогда до добра не доводит; меня оно довело до следующего. Между прочими у нас бывал граф Кенсона, французский эмигрант и генерал-лейтенант русской службы.

Отчаянный роялист, он участвовал на знаменитом празднике, на котором королевские опричники топтали народную кокарду и где Мария-Антуанетта пила на погибель революции. Граф Кенсона, худой, стройный, высокий и седой старик, был тип учтивости и изящных манер. В Париже его ждало пэрство, он уже ездил поздравлять Людовика XVIII с местом и возвратился в Россию для продажи имения. Надобно было, на мою беду, чтоб вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне.

– Да ведь вы, стало, сражались против нас? – спросил я его пренаивно.

– Non, mon petit, non, j'etais dans l'armée russe.¹²

– Как, – сказал я, – вы француз и были в нашей армии, это не может быть!

Отец мой строго взглянул на меня и замял разговор. Граф геройски поправил дело, он сказал, обращаясь к моему отцу, что «ему нравятся такие патриотические чувства». Отцу моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. «Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять; граф из верности своему королю служил нашему императору». Действительно, я этого не понимал.

Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его – еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устроивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещицья натура брала верх над иностранными привычками? Хозяйство было общее, имение нераз-

¹² Нет, голубчик, нет, я был в русской армии (фр.).

дельное, огромная дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка, стало быть, были налицо.

За мной ходили две нянюшки – одна русская и одна немка; Вера Артамоновна и m-me Прово были очень добрые женщины, но мне было скучно смотреть, как они целый день вяжут чулок и пикируются между собой, а потому при всяком удобном случае я убегал на половину Сенатора (бывшего посланника), к моему единственному приятелю, к его камердинеру Кало.

Добрее, кротче, мягче я мало встречал людей; совершенно одинокий в России, разлученный со всеми своими, плохо говоривший по-русски, он имел женскую привязанность ко мне. Я часы целые проводил в его комнате, докучал ему, притеснял его, шалил – он все выносил с добродушной улыбкой, вырезывал мне всякие чудеса из картонной бумаги, точил разные безделицы из дерева (зато ведь как же я его и любил). По вечерам он приносил ко мне наверх из библиотеки книги с картинками – путешествие Гмелина и Палласа и еще толстую книгу «Свет в лицах», которая мне до того нравилась, что я ее смотрел до тех пор, что даже кожаный переплет не вынес; Кало часа по два показывал мне одни и те же изображения, повторяя те же объяснения в тысячный раз.

Перед днем моего рождения и моих именин Кало запирался в своей комнате, оттуда были слышны разные звуки молотка и других инструментов; часто быстрыми шагами проходил он по коридору, всякий раз запирая на ключ свою дверь, то с кастрюлькой для клея, то с какими-то завернутыми в бумагу вещами. Можно себе представить, как мне хотелось знать, что он готовит, я подсылал дворовых мальчиков выведать, но Кало держал ухо востро. Мы как-то открыли на лестнице небольшое отверстие, падавшее прямо в его комнату, но и оно нам не помогло; видна была верхняя часть окна и портрет Фридриха II с огромным носом, с огромной звездой и с видом исхудалого коршуна. Дни за два шум переставал, комната была отворена – все в ней было по-старому, кой-где валялись только обрезки золотой и цветной бумаги; я краснел, снедаемый любопытством, но Кало, с натянуто серьезным видом, не касался щекотливого предмета.

В мучениях доживал я до торжественного дня, в пять часов утра я уже просыпался и думал о приготовлениях Кало; часов в восемь являлся он сам в белом галстуке, в белом жилете, в синем фраке и с пустыми руками. «Когда же это кончится? Не испортил ли он?» И время шло, и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексеевны Голохвастовой уже приходил с завязанной в салфетке богатой игрушкой, и Сенатор уже приносил какие-нибудь чудеса, но беспокойное ожидание сюрприза мутило радость.

Вдруг, как-нибудь невзначай, после обеда или после чая, нянюшка говорила мне:

– Сойдите на минуточку вниз, вас спрашивает один человечек.

«Вот оно», – думал я и опускался, скользя на руках по поручням лестницы. Двери в залу отворяются с шумом, играет музыка, транспарант с моим вензелем горит, дворовые мальчики, одетые турками, подают мне конфекты, потом кукольная комедия или комнатный фейерверк. Кало в поту, суетится, все сам приводит в движение и не меньше меня в восторге.

Какие же подарки могли стать рядом с таким праздником, – я же никогда не любил вещей, бугор собственности и стяжания не был у меня развит ни в какой возраст, – усталость от неизвестности, множество свечек, фольги и запах пороха! Недоставало, может, одного – товарища, но я все ребячество провел в одиночестве¹³ и, стало, не был избалован с этой стороны.

¹³ Кроме меня, у моего отца был другой сын, лет десять старше меня. Я его всегда любил, но товарищем он мне не мог быть. Лет с двенадцати и до тридцати он провел под ножом хирургов. После ряда истязаний, вынесенных с чрезвычайным мужеством, превратив целое существование в одну перемежающуюся операцию, доктора объявили его болезнь неизлечимой. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нрав способствовали окончательно сломать его жизнь. Страницы, в которых я говорю о его уединённом, печальном существовании, выпущены мной, я их не хочу печатать без его согласия. (Прим. А. И. Герцена.)

У моего отца был еще брат, старший обоих, с которым он и Сенатор находились в открытом разрыве; несмотря на то, они именем управляли вместе, то есть разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющ. Два брата делали все наперекор старшему, он – им. Старосты и крестьяне теряли голову: один требует подвод, другой сена, третий дров, каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту, – меньшие сменяют его через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначают другого, которого старший брат не признает. При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты и которых тормозили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустойчивым капризным требованиям.

Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их, – потерю огромного процесса с графами Девиер, в котором они были правы. Имея один интерес, они не могли никогда согласиться в образе действия; противная партия, естественно, воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имени, сенат приговорил каждого из братьев к уплате проторей и убытков по тридцати тысяч рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они решились разделиться. Около года продолжались приуготовительные толки, имя было разбито на три довольно равные части, судьба должна была решить, кому какая достанется. Сенатор и мой отец ездили к брату, которого не видали несколько лет, для переговоров и примирения, потом разнесся слух, что он приедет к нам для окончания дела. Слух о приезде старшего брата распространил ужас и беспокойство в нашем доме.

Это было одно из тех оригинально-уродливых существ, которые только возможны в оригинально-уродливой русской жизни. Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан, – и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти. Он начал свою службу тоже с Измайловского полка, состоял при Потемкине чем-то вроде адъютанта, потом служил при какой-то миссии и, возвратившись в Петербург, был сделан обер-прокурором в синоде. Ни дипломатический круг, ни монашеский не могли укротить необузданный характер его. За ссоры с архиереями он был отставлен, за пощечину, которую хотел дать или дал на официальном обеде у генерал-губернатора какому-то господину, ему был воспрещен въезд в Петербург. Он уехал в свое тамбовское имение; там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепости; он был обязан своему кучеру и лошадям спасением жизни.

После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми родными и всеми посторонними, он жил один-одинехонек в своем большом доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Он завел большую библиотеку и целую крепостную сераль, и то и другое держал назаперти. Лишенный всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он для рассеяния скупал ненужные вещи и заводил еще более ненужные тяжбы, которые вел с ожесточением. Тридцать лет длился у него процесс об аматиевской скрипке и кончился тем, что он выиграл ее. Он оттягал после необычайных усилий стену, общую двум домам, от обладания которой он ничего не приобретал. Будучи в отставке, он, по газетам приравнивая к себе повышение своих сослуживцев, покупал ордена, им данные, и клал их на столе как скорбное напоминанье: чем и чем он мог бы быть изукрашен!

Братья и сестры его боялись и не имели с ним никаких сношений, наши люди обходили его дом, чтоб не встретиться с ним, и бледнели при его виде; женщины страшились его наглых преследований, дворовые служили молебны, чтоб не достаться ему.

И вот этот-то страшный человек должен был приехать к нам. С утра во всем доме было необыкновенное волнение: я никогда прежде не видал этого мифического «брата-врага», хотя и родился у него в доме, где жил мой отец после приезда из чужих краев; мне очень хотелось его посмотреть и в то же время я боялся – не знаю чего, но очень боялся.

Часа за два перед ним явился старший племянник моего отца, двое близких знакомых и один добрый, толстый и сырой чиновник, заведовавший делами. Все сидели в молчаливом ожидании, вдруг взошел официант и каким-то не своим голосом доложил:

– Братец изволили пожаловать.

– Проси, – сказал Сенатор с приметным волнением, мой отец принялся нюхать табак, племянник поправил галстук, чиновник поперхнулся и откашлянул. Мне было велено идти наверх, я остановился, дрожа всем телом, в другой комнате.

Тихо и важно подвигался «братец», Сенатор и мой отец пошли ему навстречу. Он нес с собою, как носят на свадьбах и похоронах, обеими руками перед грудью – образ и протяжным голосом, несколько в нос, обратился к братьям с следующими словами:

– Этим образом благословил меня пред своей кончиной наш родитель, поручая мне и покойному брату Петру печься об вас и быть вашим отцом в замену его... если б покойный родитель наш знал ваше поведение против старшего брата...

– Ну, mon cher frère,¹⁴ – заметил мой отец своим изученно бесстрастным голосом, – хорошо и вы исполнили последнюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелые напоминания для вас, да и для нас.

– Как? что? – закричал набожный братец. – Вы меня за этим звали... – и так бросил образ, что серебряная риза его задребезжала. Тут и Сенатор закричал голосом еще страшнейшим. Я опрометью бросился на верхний этаж и только успел видеть, что чиновник и племянник, испуганные не меньше меня, ретировались на балкон.

Что было и как было, я не умею сказать; испуганные люди забились в углы, никто ничего не знал о происходившем, ни Сенатор, ни мой отец никогда при мне не говорили об этой сцене. Шум мало-помалу утих, и раздел имения был сделан, тогда или в другой день – не помню.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное имение в Рузском уезде. На следующий год мы жили там целое лето; в продолжение этого времени Сенатор купил себе дом на Арбате; мы приехали одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мертвую. Вскоре потом и отец мой купил тоже дом в Старой Конюшенной.

С Сенатором удалялся, во-первых, Кало, а во-вторых, все живое начало нашего дома. Он один мешал ипохондрическому нраву моего отца взять верх, теперь ему была воля вольная. Новый дом был печален, он напоминал тюрьму или больницу; нижний этаж был со сводами, толстые стены придавали окнам вид крепостных амбразур; кругом дома со всех сторон был ненужной величины двор.

В сущности, скорее надобно дивиться – как Сенатор мог так долго жить под одной крышей с моим отцом, чем тому, что они разъехались. Я редко видал двух человек более противоположных, как они.

Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, – несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвилю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 году Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом «при царе Ерёме», как выражался мой отец в минуты досады. Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует.

Лейб-гвардии капитаном Измайловского полка он находился при миссии в Лондоне; Павел, увидя это в списках, велел ему немедленно явиться в Петербург. Дипломат-воин отправился с первым кораблем и явился на развод.

¹⁴ дорогой брат (фр.).

– Хочешь оставаться в Лондоне? – спросил сильным голосом Павел.

– Если вашему величеству угодно будет мне позволить, – отвечал капитан при посольстве.

– Ступай назад, не теряя времени, – ответил Павел сильным голосом, и он отправился, не повидавшись даже с родными, жившими в Москве.

Пока дипломатические вопросы разрешались штыками и картечью, он был посланником и заключил свою дипломатическую карьеру во время Венского конгресса, этого светлого праздника всех дипломатий. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы, начальником Александрийского института и все исполнял с рвением, которое вряд было ли нужно, с строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал.

Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день две четверки здоровых лошадей: одну утром, одну после обеда. Сверх сената, который он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверх больницы и института, он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил два три в неделю в Английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов.

Зато он до семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах – все равно каких: агрономических или медицинских, страхового от огня общества или общества естествоиспытателей... да, сверх того, зато же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту.

Нельзя ничего себе представить больше противоположного вечно движущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заезжавшему домой, как моего отца, почти никогда не выходившего со двора, ненавидевшего весь официальный мир – вечно капризного и недовольного. У нас было тоже восемь лошадей (прескверных), но наша конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч; мой отец их держал отчасти для порядка и отчасти для того, чтоб два кучера и два форейтора имели какое-нибудь занятие, сверх хождения за «Московскими ведомостями» и петушиных боев, которые они завели с успехом между каретным сараем и соседним двором.

Отец мой почти совсем не служил; воспитанный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, он лет шестнадцати поступил в Измайловский полк сержантом, послужил до павловского воцарения и вышел в отставку гвардии капитаном; в 1801 он уехал за границу и прожил, скитаясь из страны в страну, до конца 1811 года. Он возвратился с моей матерью за три месяца до моего рождения и, проживши год в тверском именье после московского пожара, переехал на житье в Москву, стараясь как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь. Живость брата ему мешала.

После переезда Сенатора все в доме стало принимать более и более угрюмый вид. Стены, мебель, слуги – все смотрело с неудовольствием, исподлобья; само собою разумеется, всех недовольнее был мой отец сам. Искусственная тишина, шепот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх. В комнатах все было неподвижно, пять-шесть лет одни и те же книги лежали на одних и тех же местах и в них те же заметки. В спальне и кабинете моего отца годы целые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтоб без него не вздумали вымыть полов или почистить стен.

ГЛАВА II

Разговор нянюшек и беседа генералов. – Ложное положение. – Русские энциклопедисты. – Скука. – Девичья и передняя. – Два немца. – Ученье и чтение. – Катехизис и Евангелие

Лет до десяти я не замечал ничего странного, особенного в моем положении; мне казалось естественно и просто, что я живу в доме моего отца, что у него на половине я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, где я кричу и шалю сколько душе угодно. Сенатор баловал меня и дарил игрушки, Кало носил на руках, Вера Артамоновна одевала меня, клала спать и мыла в корыте, m-me Прово водила гулять и говорила со мной по-немецки; все шло своим порядком, а между тем я начал призадумываться.

Беглые замечания, неосторожно сказанные слова стали обращать мое внимание. Старушка Прово и вся дворня любили без памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашние сцены, возникавшие иногда между ними, служили часто темой разговоров m-me Прово с Верой Артамоновной, бравших всегда сторону моей матери.

Моя мать действительно имела много неприятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли, она была совершенно подавлена моим отцом и, как всегда бывает с слабыми натурами, делала отчаянную оппозицию в мелочах и безделицах. По несчастью, именно в этих мелочах отец мой был почти всегда прав, и дело оканчивалось его торжеством.

– Я, право, – говаривала, например, m-me Прово, – на месте барыни просто взяла бы да и уехала в Штутгарт; какая отрада – все капризы да неприятности, скука смертная.

– Разумеется, – добавляла Вера Артамоновна, – да вот что связало по рукам и ногам, – и она указывала спичками чулка на меня. – Взять с собой – куда? к чему? – покинуть здесь одного, с нашими порядками, это и вчуже жаль!

Дети вообще пронизательнее, нежели думают, они быстро рассеиваются, на время забывают, что их поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются с удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я в несколько недель узнал все подробности о встрече моего отца с моей матерью, о том, как она решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в Касселе, у Сенатора, и в мужском платье переехала границу; все это я узнал, ни разу не сделав никому ни одного вопроса.

Первое следствие этих открытий было отдаление от моего отца – за сцены, о которых я говорил. Я их видел и прежде, но мне казалось, что это в совершенном порядке; я так привык, что всё в доме, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что он всем делал замечания, что не находил этого странным. Теперь я стал иначе понимать дело, и мысль, что доля всего выносится за меня, завлакивала иной раз темным и тяжелым облаком светлую, детскую фантазию.

Вторая мысль, укоренившаяся во мне с того времени, состояла в том, что я гораздо меньше завишу от моего отца, нежели вообще дети. Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась.

Года через два или три, раз вечером сидели у моего отца два товарища по полку: П. К. Эссен, оренбургский генерал-губернатор, и А. Н. Бахметев, бывший наместником в Бессарабии, генерал, которому под Бородином оторвало ногу. Комната моя была возле залы, в которой они уселись. Между прочим, мой отец сказал им, что он говорил с князем Юсуповым насчет определения меня на службу.

– Время терять нечего, – прибавил он, – вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтоб до чего-нибудь дослужиться.

– Что тебе, братец, за охота, – сказал добродушно Эссен, – делать из него писаря. Поручи мне это дело, я его запишу в уральские казаки, в офицеры его выведем, – это главное, потом своим чередом и пойдет, как мы все.

Мой отец не соглашался, говорил, что он разлюбил все военное, что он надеется поместить меня со временем где-нибудь при миссии в теплом крае, куда и он бы поехал оканчивать жизнь.

Бахметев, мало бравший участия в разговоре, сказал, вставая на своих костылях:

– Мне кажется, что вам следовало бы очень подумать о совете Петра Кирилловича. Не хотите записывать в Оренбург, можно и здесь записать. Мы с вами старые друзья, и я привык говорить с вами откровенно: штатской службой, университетом вы ни вашему молодому человеку не сделаете добра, ни пользы для общества. Он явным образом в ложном положении, одна военная служба может разом раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чем он дойдет до того, что будет командовать ротой, все опасные мысли улягутся. Военная дисциплина – великая школа, дальнейшее зависит от него. Вы говорите, что он имеет способности, да разве в военную службу идут одни дураки? А мы-то с вами, да и весь наш круг? Одно вы можете возразить, что ему дольше надобно служить до офицерского чина, да в этом-то именно мы и поможем вам.

Разговор этот стоил замечаний m-me Прово и Веры Артамоновны. Мне тогда уже было лет тринадцать, такие уроки, переворачиваемые на все стороны, разбираемые недели, месяцы в совершенном одиночестве, приносили свой плод. Результатом этого разговора было то, что я, мечтавший прежде, как все дети, о военной службе и мундире, чуть не плакавший о том, что мой отец хотел из меня сделать статского, вдруг охладел к военной службе и хотя не разом, но мало-помалу искоренил доглы любовь и нежность к эполетам, аксельбантам, лампасам. Еще раз, впрочем, потухающая страсть к мундиру вспыхнула. Родственник наш, учившийся в пансионе в Москве и приходивший иногда по праздникам к нам, поступил в Ямбургский уланский полк. В 1825 году он приезжал юнкером в Москву и остановился у нас на несколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидел со всеми шнурками и шнурочками, с саблей и в четвероугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром на другой день я оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой, как я казался себе хорош в синем куце мундире с красными выпушками! А этишкеты, а помпон, а лядунка... что с ними в сравнении была камлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые панталоны?

Приезд родственника потряс было действие генеральской речи, но вскоре обстоятельства снова и окончательно отклонили мой ум от военного мундира.

Внутренний результат дум о «ложном положении» был довольно сходен с тем, который я вывел из разговоров двух нянюшек. Я чувствовал себя свободнее от общества, которого вовсе не знал, чувствовал, что, в сущности, я оставлен на собственные свои силы, и с несколько детской заносчивостью думал, что покажу себя Алексею Николаевичу с товарищами.

При всем этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома. Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, он баловал меня только лет до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убегал, провожая их, на двор поиграть с дворовыми мальчишками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину.

Передняя и девичья составляли единственное живое удовольствие, которое у меня оставалось. Тут мне было совершенное раздолье, я брал партию одних против других, судил и

рядил вместе с моими приятелями их дела, знал все их секреты и никогда не проболтался в гостиной о тайнах передней.

На этом предмете нельзя не остановиться. Я, впрочем, вовсе не бегу от отступлений и эпизодов, – так идет всякий разговор, так идет самая жизнь.

Дети вообще любят слуг; родители запрещают им сближаться с ними, особенно в России; дети не слушают их, потому что в гостиной скучно, а в девичьей весело. В этом случае, как в тысяче других, родители не знают, что делают. Я никак не могу себе представить, чтоб наша передняя была вреднее для детей, чем наша «чайная» или «диванная». В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры, это правда; но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства.

Самый приказ удаляться от людей, с которыми дети в непрерывном сношении, безнравственен.

Много толкуют у нас о глубоком разврате слуг, особенно крепостных. Они действительно не отличаются примерной строгостью поведения, нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и дают отпор. Но не в этом дело. Я желал бы знать – которое сословие в России меньше их развращено? Неужели дворянство или чиновники? быть может, духовенство?

Что же вы смеетесь?

Разве одни крестьяне найдут кой-какие права...

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее. Когда граф Альмавива исчислил севильскому цирюльнику качества, которые он требует от слуги, Фигаро заметил, вздыхая: «Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много ли найдется господ, годных быть лакеями?»

Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед начальниками и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за четырнадцатым классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других как сословие – я не знаю.

Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и Сенатора, но о слугах двух-трех близких нам домов в продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах... но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: человек-собственность не церемонится с своим товарищем и поступает запанибрата с барским добром. Справедливее следует исключить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников; но, во-первых, они составляют исключение, это – Клейнмихели конюшни, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босую ногу; сверх того, они-то и ведут себя всех лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладывают в питейный дом.

Простодушный разврат прочих вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней

с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой – крестьянской простоты при рабстве внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы, но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми: безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограничены и скорее наивны и человечественны, чем порочны.

Вино и чай, кабак и трактир – две постоянные страсти русского слуги; для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения патера Метью осуждать пьянство и, сидя за чайным столом, удивляться, для чего слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома, несмотря на то что дома дешевле.

Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает; это оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Как же не пить слуге, осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу? Он пьет через край – когда может, потому что не может пить всякий день; это заметил лет пятнадцать тому назад Сенковский в «Библиотеке для чтения». В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломились в безвыходной и неравной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, с недавшюю ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробыв шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом, – человек дико вырывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение не много может вынести. Лучше бы и моралисты пили себе Irish или Scotch whisky¹⁵ да молчали бы, а то с их бесчеловечной филантропией они накличутся на страшные ответы.

Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай; дома ему все напоминает, что он слуга; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек, он господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит, он приказывает – его слушают, он радуется и весело требует себе паюсной икры или расстегайчик к чаю.

Во всем этом больше детского простодушия, чем безнравственности. Впечатления ими овладевают быстро, но не пускают корней; ум их постоянно занят, или, лучше, рассеян случайными предметами, небольшими желаниями, пустыми целями. Ребячья вера во все чудесное заставляет трусить взрослого мужчину, и та же ребячья вера утешает его в самые тяжелые минуты. Я с удивлением присутствовал при смерти двух или трех из слуг моего отца: вот где можно было судить о простодушном беспечии, с которым проходила их жизнь, о том, что на их совести вовсе не было больших грехов, а если кой-что случилось, так уже покончено на духу с «батюшкой».

На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благосклонно-снисходительное обращение, оттого что они умны и понимают, что для них они – дети, а для слуг – лица. Вследствие этого они гораздо больше любят играть в карты и лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для них из снисхождения, уступают им, дразнят их и оставляют игру как вздумается; горничные играют обыкновенно столько же для себя, сколько для детей; от этого игра получает интерес.

Прислуга чрезвычайно привязывается к детям, и это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь слабых и простых.

¹⁵ ирландское или шотландское виски (англ.).

Встарь бывала, как теперь в Турции, патриархальная, династическая любовь между помещиками и дворовыми. Нынче нет больше на Руси усердных слуг, преданных роду и племени своих господ. И это понятно. Помещик не верит в свою власть, не думает, что он будет отвечать за своих людей на Страшном судилище Христовом, а пользуется ею из выгоды. Слуга не верит в свою подчиненность и выносит насилие не как кару божию, не как искуc, – а просто оттого, что он беззащитен; сила солому ломит.

Я знавал еще в молодости два-три образчика этих фанатиков рабства, о которых со вздохом говорят восьмидесятилетние помещики, повествуя о их неусыпной службе, о их великом усердии и забывая прибавить, чем их отцы и они сами платили за такое самоотвержение.

В одной из деревень Сенатора проживал на покое, то есть на хлебе, дряхлый старик Андрей Степанов.

Он был камердинером Сенатора и моего отца во время их службы в гвардии, добрый, честный и трезвый человек, глядевший в глаза молодым господам и угадывавший, по их собственным словам, их волю, что, думаю, было не легко. Потом он управлял подмосковной. Отрезанный сначала войной 1812 года от всякого сообщения, потом один, без денег, на пепелище выгорелого села, он продал какие-то бревна, чтоб не умереть с голоду. Сенатор, возвратившись в Россию, принялся приводить в порядок свое имение и наконец добрался до бревен. В наказание он отобрал его должность и отправил его в опалу. Старик, обремененный семьей, поплелся на подножный корм. Нам приходилось проезжать и останавливаться на день, на два в деревне, где жил Андрей Степанов. Дряхлый старец, разбитый параличом, приходил всякий раз, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить с ним.

Преданность и кротость, с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обеим сторонам голого черепа глубоко трогали меня.

– Слышал я, государь мой, – говорил он однажды, – что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро богу душу отдам, а ведь не сподобил меня господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях!

Я смотрел на старика: его лицо было так детски откровенно, сторбленная фигура его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос – все внушало доверие; он не лгал, он не льстил, ему действительно хотелось видеть прежде смерти в «кавалерии и регалиях» человека, который лет пятнадцать не мог ему простить каких-то бревен. Что это: святой или безумный? Да не одни ли безумные и достигают святости?

Новое поколение не имеет этого идолопоклонства, и если бывают случаи, что люди не хотят на волю, то это просто от лени и из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе к концу; они, наверно, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не владимирскую ленту.

Скажу здесь кстати о положении нашей прислуги вообще.

Ни Сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, то есть не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и именно потому часто груб и несправедлив; но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил; для русского человека это часто хуже побоев и брани.

Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме, и два-три случая, в которые Сенатор и мой отец прибегали к гнусному средству «частного дома», были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей; без роду, без племени, они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели двадцать лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены... являлись два полицейских

солдата по зову помещика, они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствии, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, то есть какой-нибудь двугривенный, шейный платок.

Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразило вид старика лет шестидесяти: он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафа, но помиловать от бесчестья.

Когда Сенатор жил с нами, общая прислуга состояла из тридцати мужчин и почти столько же женщин; замужние, впрочем, не несли никакой службы, они занимались своим хозяйством; на службе были пять-шесть горничных и прачки, не ходившие наверх. К этому следует прибавить мальчишек и девчонок, которых приучали к службе, то есть к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи.

Для характеристики тогдашней жизни в России я не думаю, чтоб было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала им давались пять рублей ассигнациями в месяц на харчи, потом шесть. Женщинам – рублем меньше, детям лет с десяти – половина. Люди составляли между собой артели и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалованье состояло из ста рублей ассигнациями в год, другие получали половину, некоторые тридцать рублей в год. Мальчики лет до восемнадцати не получали жалованья. Сверх оклада, людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины; мальчикам, не получавшим жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, то есть на баню и говенье. Взяв все в расчет, слуга обходился рублем в триста ассигнациями; если к этому прибавить дивиденд на лекарства, лекаря и на съестные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали, куда деть, то мы и тогда не перейдем трехсот пятидесяти рублей. Это составляет четвертую часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне.

Плантаторы обыкновенно вводят в счет страховую премию рабства, то есть содержание жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет; но страховая премия сильно понижается – премией страха телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания.

Я довольно наглядился, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю, они как-то умеют не верить своему полному рабству. Но тут, сидя на грязном залавке передней с утра до ночи или стоя с тарелкой за столом, – нет места сомнению.

Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде, – люди, которых душа никогда не просыпалась, которые вошли во вкус и с своего рода художеством исполняют свою должность.

В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное – наш старый лакей Бакай. Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия, он дожил до преклонных лет, воображая, что положение лакея одно из самых значительных.

Почтенный старец этот постоянно был сердит или выпивши, или выпивши и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность; он умел с особенным шумом и треском отбросить ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела. Сумрачно и навязчиво стоял на запятках и всякий раз, когда его потряхивало на рытвине, он густым и недовольным голосом кричал кучеру: «Легче!», несмотря на то что рытвина уже была на пять шагов сзади.

Главное занятие его, сверх езды за каретой, – занятие, добровольно возложенное им на себя, состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кой-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном до невероятной степени. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римский характер Бакая; он отворял мне дверь в залу и говорил:

– Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу.

Он не пропускал ни одного движения, ни одного слова, чтоб не разбранить мальчишек; к словам нередко прибавлял он и тумак или «ковырял масло», то есть щелкал как-то хитро и искусно, как пружиной, большим пальцем и мизинцем по голове.

Когда он разгонял наконец мальчишек и оставался один, его преследования обращались на единственного друга его, Макбета, – большую ньюфаундлендскую собаку, которую он кормил, любил, чесал и холил. Посидев без компании минуты две-три, он сходил на двор и приглашал Макбета с собой на залавок; тут он заводил с ним разговор.

– Что же ты, дурак, сидишь на дворе, на морозе, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращил глаза – ну? Ничего не отвечаешь?

За этим следовала обыкновенно пощечина. Макбет иногда огрызался на своего благодетеля; тогда Бакай его упрекал, но без ласки и уступок.

– Впрямь, корми собаку – все собака останется; зубы скалит и не подумает, на кого... Блохи бы заели без меня!

И, обиженный неблагодарностью своего друга, он нюхал с гневом табак и бросал Макбету в нос, что оставалось на пальцах, после чего тот чихал, ужасно неловко лапой снимал с глаз табак, попавший в нос, и, с полным негодованием оставляя залавок, царапал дверь; Бакай ему отворял ее со словами «мерзавец!» и давал ему ногой толчок. Тут обыкновенно возвращались мальчишки, и он принимался ковырять масло.

Прежде Макбета у нас была легавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взял на свой матрац и две-три недели ухаживал за ней. Утром рано выхожу я раз в переднюю.

Бакай хотел мне что-то сказать, но голос у него переменялся и крупная слеза скатилась по щеке – собака умерла; вот еще факт для изучения человеческого сердца. Я вовсе не думаю, чтоб он и мальчишек ненавидел; это был суровый нрав, подкрепляемый сивухой и бессознательно втянувшийся в поэзию передней.

Но рядом с этими дилетантами рабства какие мрачные образы мучеников, безнадежных страдальцев печально проходят в моей памяти.

У Сенатора был повар необычайного таланта, трудолюбивый, трезвый, он шел в гору; сам Сенатор хлопотал, чтоб его приняли в кухню государя, где тогда был знаменитый повар-француз. Поучившись там, он определился в Английский клуб, разбогател, женился, жил баринном; но веревка крепостного состояния не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своим положением.

Собравшись с духом и отслуживши молебен Иверской, Алексей явился к Сенатору с просьбой отпустить его за пять тысяч ассигнациями. Сенатор гордился своим поваром точно так, как гордился своим живописцем, а вследствие того денег не взял и сказал повару, что отпустит его даром после своей смерти.

Повар был поражен, как громом; погрустил, переменялся в лице, стал сесть и... русский человек – принялся попивать. Дела свои повел он спустя рукава, Английский клуб ему отказал. Он нанялся у княгини Трубецкой; княгиня преследовала его мелким скряжничеством. Обиженный раз ею через меру, Алексей, любивший выразиться красноречиво, сказал ей с своим важным видом, своим голосом в нос:

– Какая непрозрачная душа обитает в вашем светлейшем теле!

Княгиня взбесилась, прогнала повара и, как следует русской барыне, написала жалобу Сенатору. Сенатор ничего бы не сделал, но, как учтивый кавалер, призвал повара, разругал его и велел ему идти к княгине просить прощения.

Повар к княгине не пошел, а пошел в кабак. В год времени он все спустил: от капитала, приготовленного для взноса, до последнего фартука. Жена побилась, побилась с ним, да и пошла в няньки куда-то в отъезд. Об нем долго не было слуха. Потом как-то полиция привела Алексея, обтерханного, одичалого; его подняли на улице, квартиры у него не было, он кочевал из кабака в кабак. Полиция требовала, чтоб помещик его прибрал. Больно было Сенатору, а может, и совестно; он его принял довольно кротко и дал комнату. Алексей продолжал пить, пьяный шумел и воображал, что сочиняет стихи; он действительно не был лишен какой-то беспорядочной фантазии. Мы были тогда в Васильевском. Сенатор, не зная, что делать с поваром, прислал его туда, воображая, что мой отец уговорит его. Но человек был слишком сломлен. Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрипом зубов и с мимикой, которая, особенно в поваре, могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку; он меня любил и часто, фамильярно трепля меня по плечу, говорил: «Добрая ветвь испорченного дерева».

После смерти Сенатора мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно и значило сбить его с рук; он так и пропал.

Рядом с ним не могу не вспомнить другой жертвы крепостного состояния. У Сенатора был, вроде письмоводителя, дворовый человек лет тридцати пяти. Старший брат моего отца, умерший в 1813 году, имея в виду устроить деревенскую больницу, отдал его мальчиком какому-то знакомому врачу для обучения фельдшерскому искусству. Доктор выпросил ему позволение ходить на лекции медико-хирургической академии; молодой человек был с способностями, выучился по-латыни, по-немецки и лечил кой-как. Лет двадцати пяти он влюбился в дочь какого-то офицера, скрыл от нее свое состояние и женился на ней. Долго обман не мог продолжаться, жена с ужасом узнала после смерти барина, что они крепостные. Сенатор, новый владелец его, нисколько их не теснил, он даже любил молодого Толочанова, но ссора его с женой продолжалась; она не могла ему простить обмана и бежала от него с другим. Толочанов, должно быть, очень любил ее; он с этого времени впал в задумчивость, близкую к помешательству, прогуливал ночи и, не имея своих средств, тратил господские деньги; когда он увидел, что нельзя свести концов, он 31 декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочанов взмолился при мне к моему отцу и сказал ему, что он пришел с ним проститься и просит его сказать Сенатору, что деньги, которых недостает, истратил он.

– Ты пьян, – сказал ему мой отец, – поди и выпишись.

– Я скоро пойду спать надолго, – сказал лекарь, – и прошу только не поминать меня злом.

Спокойный вид Толочанова испугал моего отца, и он, пристальнее посмотрев на него, спросил:

– Что с тобою, ты бредишь?

– Ничего-с, я только принял рюмку мышьяку.

Послали за доктором, за полицией, дали ему рвотное, дали молока... когда его начало тошнить, он удерживался и говорил:

– Сиди, сиди там, я не с тем тебя проглотил.

Я слышал потом, когда яд стал сильнее действовать, его стон и страдальческий голос, повторявший:

– Жжет, жжет! огонь!

Кто-то посоветовал ему послать за священником, он не хотел и говорил Кало, что жизни за гробом быть не может, что он настолько знает анатомию. Часу в двенадцатом вечера он

спросил штаб-лекаря по-немецки, который час, потом, сказавши: «Вот и Новый год, поздравляю вас», – умер.

Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, туда снесли Толочанова; тело лежало на столе в том виде, как он умер: во фраке, без галстука, с раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки, и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет – огонь!».

В заключение этого печального предмета скажу только одно – на меня передняя не сделала никакого действительно дурного влияния. Напротив, она с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говорила мне: «Дайте срок, – вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна – таким, как другие, по крайней мере, я не делался.

Сверх передней и девичьей, было у меня еще одно рассеяние, и тут, по крайней мере, не было мне помехи. Я любил чтение столько же, сколько не любил учиться. Страсть к бессистемному чтению была вообще одним из главных препятствий серьезному учению. Я, например, прежде и после терпеть не мог теоретического изучения языков, но очень скоро выучивался кой-как понимать и болтать с грехом пополам, и на этом останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтения.

У отца моего вместе с Сенатором была довольно большая библиотека, составленная из французских книг прошлого столетия. Книги валялись грудями в сырой, нежилой комнате нижнего этажа в доме Сенатора. Ключ был у Кало, мне было позволено рыться в этих литературных закромах, сколько я хотел, и я читал себе да читал. Отец мой видел в этом двойную пользу: во-первых, что я скорее выучусь по-французски, а сверх того, что я занят, то есть сию смирно и притом у себя в комнате. К тому же я не все книги показывал или клал у себя на столе, – иные прятались в шифоньер.

Что же я читал? Само собою разумеется, романы и комедии. Я прочел томов пятьдесят французского «Репертуара» и русского «Феатра», в каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверх французских романов, у моей матери были романы Лафонтена, комедии Коцебу, – я их читал раза по два. Не могу сказать, чтоб романы имели на меня большое влияние; я бросался с жадностью на все двусмысленные или несколько растрепанные сцены, как все мальчишки, но они не занимали меня особенно. Гораздо сильнейшее влияние имела на меня пьеса, которую я любил без ума, перечитывал двадцать раз, и притом в русском переводе «Феатра», – «Свадьба Фигаро». Я был влюблен в Херубима и в графиню, и, сверх того, я сам был Херубим; у меня замирало сердце при чтении, и, не давая себе никакого отчета, я чувствовал какое-то новое ощущение. Как упоительна казалась мне сцена, где пажа одевают в женское платье, мне страшно хотелось спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайком целовать ее. На деле я был далек от всякого женского общества в эти лета.

Помню только, как изредка по воскресеньям к нам приезжали из пансиона две дочери Б. Меньшая, лет шестнадцати, была поразительной красоты. Я терялся, когда она входила в комнату, не смел никогда обращаться к ней с речью, а украдкой смотрел в ее прекрасные темные глаза, на ее темные кудри. Никогда никому не заикался я об этом, и первое дыхание любви прошло, не сведанное никем, ни даже ею.

Годы спустя, когда я встречался с нею, сильно билось сердце, и я вспоминал, как я двенадцати лет от роду молился ее красоте.

Я забыл сказать, что «Вертер» меня занимал почти столько же, как «Свадьба Фигаро»; половины романа я не понимал и пропускал, торопясь скорее до страшной развязки, тут я плакал как сумасшедший. В 1839 году «Вертер» попался мне случайно под руки, это было

во Владимире; я рассказал моей жене, как я мальчиком плакал, и стал ей читать последние письма... и когда дошел до того же места, слезы полились из глаз, и я должен был остановиться.

Лет до четырнадцати я не могу сказать, чтоб мой отец особенно теснил меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. Строптивая и ненужная заботливость о физическом здоровье, рядом с полным равнодушием к нравственному, страшно надоедала. Предостережения от простуды, от вредной пищи, хлопоты при малейшем насморке, кашле. Зимой я по неделям сидел дома, а когда позволялось проехаться, то в теплых сапогах, шарфах и прочее. Дома был постоянно нестерпимый жар от печей, все это должно было сделать из меня хилого и изнеженного ребенка, если б я не наследовал от моей матери непреодолимого здоровья. Она, с своей стороны, вовсе не делила этих предрассудков и на своей половине позволяла мне все то, что запрещалось на половине моего отца.

Ученье шло плохо, без соревнования, без поощрений и одобрений; без системы и без надзору, я занимался спустя рукава и думал памятью и живым соображением заменить труд. Разумеется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды условившись в цене, – лишь бы они приходили в свое время и сидели свой час, – они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета в том, что делали.

Одним из самых странных эпизодов моего тогдашнего учения было приглашение французского актера Далеса давать мне уроки декламации.

– Нынче на это не обращают внимания, – говорил мне мой отец, – а вот брат Александр – он шесть месяцев сряду всякий вечер читал с Офреном *Le récit de Thérémene*¹⁶ и все не мог дойти до того совершенства, которого хотел Офрен.

Затем принялся я за декламацию.

– А что, *monsieur Dales*,¹⁷ – спросил его раз мой отец, – вы можете, я полагаю, давать уроки танцевания?

Далес, толстый старик за шестьдесят лет, с чувством глубокого сознания своих достоинств, но и с не меньше глубоким чувством скромности отвечал, что «он не может судить о своих талантах, но что часто давал советы в балетных танцах *au grand opera*!».

– Я так и думал, – заметил ему мой отец, поднося ему свою открытую табакерку, чего с русским или немецким учителем он никогда бы не сделал. – Я очень хотел бы, если б вы могли *le dégourdir un peu*,¹⁸ после декламации, немного бы потанцевать.

– *Monsieur le comte peut disposer de moi*.¹⁹

И мой отец, безмерно любивший Париж, начал вспоминать о фойе Оперы в 1810, о молодости Жорж, о преклонных годах Марс и расспрашивал о кафе и театрах.

Теперь вообразите себе мою небольшую комнатку, печальный зимний вечер, окна замерзли, и с них течет вода по веревочке, две сальные свечи на столе и наш *tête-à-tête*.²⁰ Далес на сцене еще говорил довольно естественно, но за уроком считал своей обязанностью наиболее удаляться от природы в своей декламации. Он читал Расина как-то нараспев и делал тот пробор, который англичане носят на затылке, на цезуре каждого стиха, так что он выходил похожим на надломленную трость.

При этом он делал рукой движение человека, попавшего в воду и не умеющего плавать. Каждый стих он заставлял меня повторять несколько раз и все качал головой.

¹⁶ рассказ Терамена (фр.).

¹⁷ господин Далес (фр.).

¹⁸ сделать его немного развязнее (фр.).

¹⁹ Граф может располагать мною (фр.).

²⁰ разговор наедине (фр.).

– Не то, совсем не то! Attention! «Je crains Dieu, cher Abner, – тут пробор, – он закрывал глаза, слегка качал головой и, нежно отталкивая рукой волны, прибавлял: – et n'ai point d'autre crainte».²¹

Затем старичок, «ничего не боявшийся, кроме бога», смотрел на часы, свертывал роман и брал стул: это была моя дама.

После этого нечему удивиться, что я никогда не танцевал.

Уроки эти продолжались недолго и прекратились очень трагически недели через две.

Я был с Сенатором в французском театре: проиграла увертюра и раз, и два – занавесь не подымалась; передние ряды, желая показать, что они знают свой Париж, начали шуметь, как там шумят задние. На авансцену вышел какой-то режиссер, поклонился направо, поклонился налево, поклонился прямо и сказал:

– Мы просим всего снисхождения публики; нас постигло страшное несчастье, наш товарищ Далес, – и у режиссера действительно голос перервался слезами, – найден у себя в комнате мертвым от угара.

Таким-то сильным средством избавил меня русский чад от декламации, монологов и монотанцев с моей дамой о четырех точеных ножках из красного дерева.

Лет двенадцати я был переведен с женских рук на мужские. Около того времени мой отец сделал два неудачных опыта приставить за мной немца.

Немец при детях – и не гувернер и не дядька, это совсем особенная профессия. Он не учит детей и не одевает, а смотрит, чтоб они учились и были одеты, печется о их здоровье, ходит с ними гулять и говорит тот вздор, который хочет, не иначе как по-немецки. Если есть в доме гувернер, немец ему покоряется; если есть дядька, он покоряется немцу. Учители, ходящие по билетам, опаздывающие по непредвидимым причинам и уходящие слишком рано по обстоятельствам, не зависящим от их воли, строят немцу куры, и он при всей безграмотности начинает себя считать ученым. Гувернанты употребляют немца на покупки, на всевозможные комиссии, но позволяют ухаживать за собой только в случае сильных физических недостатков и при совершенном отсутствии других поклонников. Лет четырнадцати воспитанники ходят тайком от родителей к немцу в комнату курить табак, он это терпит, потому что ему необходимы сильные вспомогательные средства, чтоб оставаться в доме. В самом деле, большей частью в это время немца при детях благодарят, дарят ему часы и отсылают; если он устал бродить с детьми по улицам и получать выговоры за насморк и пятны на платьях, то немец при детях становится просто немцем, заводит небольшую лавочку, продает прежним питомцам мундштуки из янтаря, одеколон, сигарки и делает другого рода тайные услуги им.²²

Первый немец, приставленный за мною, был родом из Шлезии и назывался Йокиш; по моему, этой фамилии было за глаза довольно, чтоб его не брать. Высокий плешивый мужчина, он отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своим знанием агрономии; я думаю, что отец мой именно поэтому его и взял. Я с отвращением смотрел на шленского великана и только на том мирился с ним, что он мне рассказывал, гуляя по Девичьему полю и на Пресненских прудах, сальные анекдоты, которые я передавал передней. Он прожил не больше года, напакостил что-то в деревне, садовник хотел его убить косою, отец мой велел ему убираться.

На его место поступил брауншвейг-вольфенбюттельский солдат (вероятно, беглый) Федор Карлович, отличавшийся каллиграфией и непомерным тупоумием. Он уже был прежде

²¹ Внимание! «Я боюсь бога, дорогой Абнер... А ничего другого не боюсь» (фр.).

²² Органист и учитель музыки, о котором говорится в «Записках одного молодого человека», И. И. Эрк давал только уроки музыки, не имев никакого влияния. (Прим. А. И. Герцена.)

в двух домах при детях и имел некоторый навык, то есть придавал себе вид гувернера, к тому же он говорил по-французски на «ши», с обратным ударением.²³

Я не имел к нему никакого уважения и отравлял все минуты его жизни, особенно с тех пор, как я убедился, что, несмотря на все мои усилия, он не может понять двух вещей: десятичных дробей и тройного правила. В душе мальчиков вообще много беспощадного и даже жестокого; я с свирепостью преследовал бедного вольфенбюттельского егеря пропорциями; меня это до того занимало, что я, мало вступавший в подобные разговоры с моим отцом, торжественно сообщил ему о глупости Федора Карловича.

К тому же Федор Карлович мне похвастался, что у него есть новый фрак, синий, с золотыми пуговицами, и действительно я его видел раз отправляющегося на какую-то свадьбу во фраке, который ему был широк, но с золотыми пуговицами. Мальчик, приставленный за ним, донес мне, что фрак этот он брал у своего знакомого сидельца в косметическом магазейне. Без малейшего сожаления пристал я к бедняку – где синий фрак, да и только?

– У вас в доме много моли, я его отдал к знакомому портному на сохранение.

– Где живет этот портной?

– Вам на что?

– Отчего же не сказать?

– Не надобно не в свои дела мешаться.

– Ну, пусть так, а через неделю мои именины, – утешьте меня, возьмите синий фрак у портного на этот день.

– Нет, не возьму, вы не заслуживаете, потому что вы «импертигент».²⁴

И я грозил ему пальцем.

Надобно же было для последнего удара Федору Карловичу, чтоб он раз при Бушо, французском учителе, похвастался тем, что он был рекрутом под Ватерлоо и что немцы дали страшную задачу французам. Бушо только посмотрел на него и так страшно понюхал табаку, что победитель Наполеона несколько сконфузился. Бушо ушел, сердито опираясь на свою сучковатую палку, и никогда не называл его иначе, как *le soldat de Vilainton*. Я тогда еще не знал, что каламбур этот принадлежит Беранже, и не мог нарадоваться на выдумку Бушо.

Наконец, товарищ Блюхера рассорился с моим отцом и оставил наш дом; после этого отец не теснил меня больше немцами.

При брауншвейг-вольфенбюттельском воине я иногда похаживал к каким-то мальчикам, при которых жил его приятель тоже в должности «немца» и с которыми мы делали дальние прогулки; после него я снова оставался в совершенном одиночестве – скучал, рвался из него и не находил выхода. Не имея возможности пересилить волю отца, я, может, сломился бы в этом существовании, если б вскоре новая умственная деятельность и две встречи, о которых скажу в следующей главе, не спасли меня. Я уверен, что моему отцу ни разу не приходило в голову, какую жизнь он заставляет меня вести, иначе он не отказывал бы мне в самых невинных желаниях, в самых естественных просьбах.

Изредка отпускал он меня с Сенатором в французский театр, это было для меня высшее наслаждение; я страстно любил представления, но и это удовольствие приносило мне столько же горя, сколько радости. Сенатор приезжал со мною в полпиесы и, вечно куда-нибудь званный, увозил меня прежде конца. Театр был у Арбатских ворот, в доме Апраксина, мы жили в Старой Конюшенной, то есть очень близко, но отец мой строго запретил возвращаться без Сенатора.

Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, насколько это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне

²³ Англичане говорят хуже немцев по-французски, но они только коверкают язык, немцы оподляют его. (Прим. А. И. Герцена.)

²⁴ дерзкий (от фр. *impertinent*).

в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастье. Священнику за уроки закона божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот же священник, если дает тоже уроки латинского языка, то он за них берет дороже, чем за катехизис.

Мой отец считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека; он говорил, что надобно верить в Священное писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняют только предмет; что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а мужчинам неприлична. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил, по привычке, из приличия и на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем. Он почти никогда не принимал священника или просил его петь в пустой зале, куда высылал ему синенькую бумажку. Зимой он извинялся тем, что священник и дьякон вносят такое количество стужи с собой, что он всякий раз простужается. В деревне он ходил в церковь и принимал священника, но это больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных.

Мать моя была лютеранка и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, «в свою кирху», и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие, – талант, который я сохранил до совершеннолетия.

Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди, и вообще церковная *mise en scene*²⁵ поражала меня и пугала; с истинным страхом подходил я к причастию; но религиозным чувством я этого не назову, это был тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность; так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии.

Но Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу.

Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально. «Но господь бог, – говорил он, – раскрыв ум, не раскрыл еще сердца». И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственностью», однако же был доволен мною, думая, что у Терновского сумею держать ответ.

Вскоре религия другого рода овладела моей душой.

²⁵ постановка (фр.).

ГЛАВА III

Смерть Александра I и 14 декабря. – Нравственное пробуждение. – Террорист Бушо. – Корчевская кухня

Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал Сенатор; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастью, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шепотом подзывало меня; это был лакей Сенатора, я бросился к двери.

– Вы не слышали? – спросил он.

– Чего?

– Государь помер в Таганроге.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думал о возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлизистую медузу с усами! Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи – останавливать кровь в жилах.²⁶ Если наружная кротость Александра была личина, – не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовластья?

...Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда, сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли «в пушки».

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли из деревни»; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволкли небо.

В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии;²⁷ но систематического преследо-

²⁶ Рассказывают, что как-то Николай в своей семье, то есть в присутствии двух-трех начальников тайной полиции, двух-трех лейб-фрейлин и лейб-генералов, попробовал свой взгляд на Марье Николаевне. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него, и глаза сделались еще свирепее; тем же взглядом отвечала ему дочь. Все побледнело и задрожало вокруг; лейб-фрейлины и лейб-генералы не смели дохнуть от этого каннибальски-царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в «Дон-Жуане». Николай встал, – он почувствовал, что нашла коса на камень. (Прим. А. И. Герцена.)

²⁷ Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отно-

вания не было. Тайная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии под начальством старого вольтерьянца, остряка и болтуна и юмориста, вроде Жуи де Санглена. При Николае де Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же, чем был; по одному этому легко вымерить разницу царствований.

Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь всё бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «Ваше величество, у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан.²⁸

Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно.

Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких... и у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является – то Люсиль Демулен, эта Офелия революции, бродящая возле топора, ожидая свой черед, то Ж. Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо.

Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию; почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о *несчастных*.

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтоб не сказать несколько слов об одной из этих героических историй, которая очень мало известна.

В старинном доме Ивашевых жила молодая француженка гувернанткой. Единственный сын Ивашева хотел на ней жениться. Это свело с ума всю родню его: гвалт, слезы, просьбы. У француженки не было налицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им; ее уговорили уехать из Петербурга, его – отложить до поры до времени свое намерение. Ивашев был одним из энергических заговорщиков; его приговорили к вечной каторжной работе. От этой *mesalliance*²⁹ родня не спасла его. Как только страшная весть дошла до молодой девушки в Париж, она отправилась в Петербург и попросила дозволения ехать в Иркутскую губернию

шении к искусствам. Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев – «самый близкий человек к государю». – «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова, – заметил секретарь, – он не только близок к государю, но сидит перед ним». Лабзин был мистик и издатель «Сионского вестника»; сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братьев о Христе и о внутреннем человеке». Лабзина сослали в Симбирск. (Прим. А. И. Герцена.)

²⁸ Офицер, если не ошибаюсь, граф Самойлов, вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре; ему показалось, что он как-то изысканно-оригинально одет, и он высочайше изъявил желание, чтоб подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и патриот Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-нибудь водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взшел в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандала, позвал гаера. «Вы прекрасно представили меня, – сказал ему граф, – но для полного сходства у вас недоставало одного – этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мне вручить его вам: вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место. Плоская шутка так же глупо пала, как объявление Чаадаева сумасшедшим и другие августейшие шалости. (Прим. А. И. Герцена.)

²⁹ неравного брака (фр.).

к своему жениху Ивашеву. Бенкендорф попытался отклонить ее от такого преступного намерения; ему не удалось, и он доложил Николаю. Николай велел ей объяснить положение жен, не изменивших мужьям, сосланным в каторжную работу, присовокупляя, что он ее не держит, но что она должна знать, что если жены, идущие из верности с своими мужьями, заслуживают некоторого снисхождения, то она не имеет на это ни малейшего права, сознательно вступая в брак с преступником.

Она и Николай сдержали слово: она отправилась в Сибирь – он ничем не облегчил ее судьбу.

Царь был строг, но справедлив.

В крепости ничего не знали о позволении, и бедная девушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство спишет с Петербургом, в каком-то местечке, населенном всякого рода бывшими преступниками, без всякого средства узнать что-нибудь об Ивашеве и дать ему весть о себе.

Мало-помалу она ознакомилась с своими новыми товарищами. Между ними был сосланный разбойник; он работал в крепости, она рассказала ему свою историю. На другой день разбойник принес ей записочку от Ивашева. Через день он предложил ей носить от Ивашева вести и брать ее записки. С утра он должен был работать в крепости до вечера; когда наступала ночь, он брал письмо Ивашева и отправлялся, несмотря ни на бураны, ни на свою усталость, и возвращался к рассвету на свою работу.³⁰

Наконец пришло позволение, их обвенчали. Через несколько лет каторжная работа заменилась поселением. Положение их несколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала под бременем всего испытанного. Она увяла, как должен был увянуть цветок полуденных стран на сибирском снегу. Ивашев не пережил ее, он умер ровно через год после нее, но и тогда он уже не был здесь; его письма (поразившие Третье отделение) носили след какого-то безмерно грустного, святого лунатизма, мрачной поэзии; он, собственно, не жил после нее, а тихо, торжественно умирал.

Это «житие» не оканчивается с их смертью. Отец Ивашева, после ссылки сына, передал свое имение незаконному сыну, прося его не забывать бедного брата и помогать ему. У Ивашевых осталось двое детей, двое малюток без имени, двое будущих кантонистов, посельщиков в Сибири – без помощи, без прав, без отца и матери. Брат Ивашева испросил у Николая позволения взять детей к себе; Николай разрешил. Через несколько лет он рискнул другую просьбу, он ходатайствовал о возвращении им имени отца; удалось и это.

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, – коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву,

³⁰ Люди, хорошо знавшие Ивашевых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в истории разбойника. И что, говоря о возвращении детей и о участии брата, нельзя не вспомнить благородного поведения сестер Ивашева. Подробности дела я слышал от Языковой, которая ездила к брату (Ивашеву) в Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойнике, я не помню. Не смешали ли Ивашеву с кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому через незнакомого раскольника? Целы ли письма Ивашева? Нам кажется, будто мы имеем право на них. (Прим. А. И. Герцена.)

остановился в Петровском дворце... Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.

Народ русский отвык от смертных казней: после Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь *de jure*³¹ не существовала. Рассказывают, что при Павле на Дону было какое-то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман представил дело государю. «Все они бабы, – сказал Павел, – они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен», – и заменил ее каторжной работой.

Николай ввел *смертную казнь* в наше уголовное законодательство сначала незаконно, а потом привенчал ее к своему своду.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле.³² Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное – глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он «пребывал к ним благосклонен», не больше.

В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами; от дочерей Августа до Поппеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остается; мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двоятся: с одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, или с опущенными щеками, как у Галбы; последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле. Но есть и другой – это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть – повелевать; ум узок, сердца совсем нет – это монахи властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы *гвардейские и армейские* императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов. Я понимаю необходимость этих угрюмых и непреклонных стражей возле умирающего в бешенстве, но зачем они возникающему, юному?

Несмотря на то что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время коронации он шел возле бледного Николая, с насупившимися светло-желтого цвета взъерошенными

³¹ юридически (лат.).

³² «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Среди Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля. Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы! Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил: гвардия и трон, алтарь и пушки – все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу» («Полярная звезда» на 1855). (Прим. А. И. Герцена.)

бровями, в мундире литовской гвардии с желтым воротником, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. Обвенчавши, в качестве отца посаженного, Николая с Россией, он уехал додразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года о нем не было слышно.

Некрасив был мой герой, такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал *гатчинским*, если б не видал сардинского короля.

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И. Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: «Дай бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева; я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!).

Разумеется, что и чтение мое переменялось. Политика вперед, а главное – история революции; я ее знал только по рассказам т-те Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

– Зачем, – спросил я его середь урока, – казнили Людовика Шестнадцатого?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

– Parce qu'il a été traître à la patrie.³³

– Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

– Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов;³⁴ для меня было довольно: ясное дело, что подделом казнили короля.

Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки, он часто говаривал: «Из вас ничего не выйдет», но когда заметил мою симпатию к его идеям *régicides*,³⁵ он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

– Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня.

В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца. Я ее знал с самых детских лет, но видались мы редко; она приезжала раз в год на святки или об масленицу погостить в Москву с своей теткой. Тем не менее мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески, то

³³ Потому что он изменил отечеству (фр.).

³⁴ сослагательных наклонений (фр.).

³⁵ царевубийственным (фр.).

есть не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их.

Мы переписывались, и очень, с 1824 года, но письма – это опять перо и бумага, опять учебный стол с чернильными пятнами и иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом; мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях – и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале (1826) и будет у нас гостить несколько месяцев. Я на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смарывал прошедшие, иногда намеренно забывая дня три, чтоб иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает.

Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению запивая кислыми щами всякое предложение, толковал о «гексаметре», страшно рубя на стопы голосом и рукой каждый стих из Гнедичевой «Илиады», – вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней, подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса, говор на дворе... я вспыхнул в лице, мне было не до рубленого гнева «Ахиллеса, Пелеева сына», я бросился стремглав в переднюю, а тверская кузина, закутанная в шубах, шалях, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может, и от радости, бросилась меня целовать.

Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят, жеманясь, как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать: «Ребячество!» Словно они стали лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через три стыдятся своих игрушек, – пусть их, им хочется быть большими, они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг; а, кажется, совершеннолетним можно бы было понять, что «ребячество» с двумя-тремя годами юности – самая полная, самая изящная, самая *наша* часть жизни, да и чуть ли не самая важная, она незаметно определяет все будущее.

Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришел к оврагу или не сломал себе шеи, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.

Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями дает юность человеку, но человека сложившегося берет для себя, она его втягивает, впутывает в ткань общественных и семейных отношений, в три четверти не зависящих от него, он, разумеется, дает своим действиям свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе, лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувства и наслаждение – все слабее, кроме ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розам. Матери она лишилась ребенком. Отец был отчаянный игрок и, как все игроки по крови, – десять раз был беден, десять раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. Les beaux restes³⁶ своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын его, уланский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели: девятнадцати лет он уже был более страстный игрок, нежели отец.

Лет пятидесяти, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не

³⁶ Остатки (фр.).

случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре; худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное. Вовсе не глупая, она была полна ледяной восторженности на словах, говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной, иезуитской скромности. Сверх этих общих черт «семинаристов в желтой шали», она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери (императрицы Марии Федоровны), была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы: «Il a repris son sourire de bienveillance!».³⁷

Можно себе представить стройное trio, составленное из отца – игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, пиров, скачек и бегов, дочери, воспитанной в совершенной независимости, привыкшей делать что хотелось, в доме, и ученой девы, вдруг сделавшейся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу, разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще между женщинами тридцати пяти лет и девушками семнадцати только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной вражде между падчерицами и мачехами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак – вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак – вообще нелепость; но, делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретила с неумолимой логикой жизни – с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца – своей матерью.

С своей стороны, и женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении; ей нечего с ними делать, она должна натянуть чувства, которых не может иметь, она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои.

Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, как молодая девушка, не привыкшая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей; улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело, и она наконец склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может, и на год, к нам.

На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков; самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую историю и Анахарсисово путешествие. С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонностям моим курить тайком табак, заворачивая его в бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще она любила мне читать морали, – если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастью, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести Цшоке вместо археологического романа и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневика и гороховый кисель с постным маслом, а летом – крыжовник и смородину.

Я думаю, что влияние кузины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным,

³⁷ На его устах вновь появилась благосклонная улыбка! (фр.).

огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она поддержала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, – и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я будущий «Брут или Фабриций».

Мне одному она доверила тайну любви к одному офицеру Александрийского гусарского полка, в черном ментике и в черном доломане; это была действительная тайна, потому что и сам гусар никогда не подозревал, командуя своим эскадронам, какой чистый огонек теплился для него в груди восемнадцатилетней девушки. Не знаю, завидовал ли я его судьбе, – вероятно, немножко, – но я был горд тем, что она избрала меня своим поверенным, и воображал (по Вертеру), что это одна из тех трагических страстей, которая будет иметь великую развязку, сопровождаемую самоубийством, ядом и кинжалом; мне даже приходило в голову идти к нему и все рассказать.

Кузина привезла из Корчевы воланы, в один из воланов была воткнута булавка, и она никогда не играла другим, и всякий раз, когда он попадался мне или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень к нему привыкла. Демон *espèglerie*,³⁸ который всегда был моим злым искусителем, напустил меня переменить булавку, то есть воткнуть ее в другой волан. Шалость вполне удалась: кузина постоянно брала тот, в котором была булавка. Недели через две я ей сказал; она переменялась в лице, залилась слезами и ушла к себе в комнату. Я был испуган, несчастен и, подождав с полчаса, отправился к ней; комната была заперта, я просил отпереть дверь, кузина не пускала, говорила, что она больна, что я не друг ей, а бездушный мальчик. Я написал ей записку, умолял простить меня; после чая мы помирились, я у ней поцеловал руку, она обняла меня и тут объяснила всю важность дела. Год тому назад гусар обедал у них и после обеда играл с ней в волан, – его-то волан и был отмечен. Меня угрызала совесть, я думал, что я сделал истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября месяца. Отец звал ее назад и обещал через год отпустить ее к нам в Васильевское. Мы с ужасом ждали разлуки, и вот одним осенним днем приехала за ней бричка, и горничная ее понесла класть кузовки и картоны, наши люди уложили всяких дорожных припасов на целую неделю, толпились у подъезда и прощались. Крепко обнялись мы, – она плакала, и я плакал, бричка выехала на улицу, повернула в переулок возле того самого места, где продавали гречневика и гороховый кисель, и исчезла; я ходил по двору – так что-то холодно и дурно, взошел в свою комнату – и там будто пусто и холодно, принялся готовить урок Ивану Евдокимовичу, а сам думал – где-то теперь кибитка, проехала заставу или нет?

Одно меня утешало – в будущем июне вместе в Васильевском!

Для меня деревня была временем воскресения, я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная – все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами, не смея выйти ни под каким предлогом за ворота без спроса и без сопровождения лакея...

«Едем мы нынешний год в Васильевское или нет?» Вопрос этот сильно занимал меня с весны. Отец мой всякий раз говорил, что в этом году он уедет рано, что ему хочется видеть, как распускается лист, и никогда не мог собраться прежде июля. Иной год он так опаздывал, что мы совсем не ездили. В деревню писал он всякую зиму, чтоб дом был готов и протоплен, но это делалось больше по глубоким политическим соображениям, нежели серьезно, – для того, чтоб староста и земский, боясь близкого приезда, внимательнее смотрели за хозяйством.

Кажется, что едем. Отец мой говорил Сенатору, что очень хотелось бы ему отдохнуть в деревне и что хозяйство требует его присмотра, но опять проходили недели.

Мало-помалу дело становилось вероятнее, запасы начинали отправляться: сахар, чай, разная крупа, вино – тут снова пауза, и, наконец, приказ старосте, чтоб к такому-то дню прислал столько-то крестьянских лошадей, – итак, едем, едем!

³⁸ шалости (фр.).

Я не думал тогда, как была тягостна для крестьян в самую рабочую пору потеря четырех или пяти дней, радовался от души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я с внутренним удовольствием слушал их жеванье и фырканье на дворе и принимал большое участие в суете кучеров, в спорах людей о том, где кто сядет, где кто положит свои пожитки; в людской огонь горел до самого утра, и все укладывались, таскали с места на место мешки и мешочки и одевались по-дорожному (ехать всего было около восьмидесяти верст!). Всего более раздражен был камердинер моего отца, он чувствовал всю важность укладки, с ожесточением выбрасывал все положенное другими, рвал себе волосы на голове от досады и был неприступен.

Отец мой вовсе не раньше вставал на другой день, казалось, даже позже обыкновенного, так же продолжительно пил кофей и, наконец, часов в одиннадцать приказывал закладывать лошадей. За четверместной каретой, заложенной шестью господскими лошадьми, ехали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или вместо нее две телеги; все это было наполнено дворовыми и пожитками; несмотря на обозы, прежде отправленные, все было битком набито, так что никому нельзя было порядочно сидеть.

На полдороге мы останавливались обедать и кормить лошадей в большом селе Перхушкове, имя которого попало в наполеоновские бюллетени. Село это принадлежало сыну «старшего брата», о котором мы говорили при разделе. Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженной плоскими безотрадными полями; но мне и эта пыльная даль очень нравилась после городской тесноты. В доме покоробленные полы и ступени лестницы качались, шаги и звуки раздавались резко, стены вторили им будто с удивлением. Старинная мебель из кунсткамеры прежнего владельца доживала свой век в этой ссылке; я с любопытством бродил из комнаты в комнату, ходил вверх, ходил вниз, отправлялся в кухню. Там наш повар приготовлял наскоро дорожный обед с недовольным и ироническим видом. В кухне сидел обыкновенно бурмистр, седой старик с шишкой на голове; повар, обращаясь к нему, критиковал плиту и очаг, бурмистр слушал его и по временам лаконически отвечал: «И то – пожалуй, что и так», – и невесело посматривал на всю эту тревогу, думая: «Когда нелегкая их пронесет».

Обед подавался на особенном английском сервизе из жести или из какой-то композиции, купленном *ad hoc*.³⁹ Между тем лошади были заложены; в передней и в сенях собирались охотники до придворных встреч и проводов: лакеи, оканчивающие жизнь на хлебе и чистом воздухе, старухи, бывшие смазливymi горничными лет тридцать тому назад, – вся эта саранча господских домов, поедающая крестьянский труд без собственной вины, как настоящая саранча. С ними приходили дети с светло-палевыми волосами; босые и запачканные, они всё совались вперед, старухи всё их дергали назад; дети кричали, старухи кричали на них, ловили меня при всяком случае и всякий год удивлялись, что я так вырос. Отец мой говорил с ними несколько слов; одни подходили к *ручке*, которую он никогда не давал, другие кланялись, – и мы уезжали.

В нескольких верстах от Вяземы князя Голицына дожидался васьильевский староста, верхом, на опушке леса, и провожал проселком. В селе, у господского дома, к которому вела длинная липовая аллея, встречал священник, его жена, причетники, дворовые, несколько крестьян и дурак Пронька, который один чувствовал человеческое достоинство, не снимал засаленной шляпы, улыбался, стоя несколько поодаль, и давал стрелка, как только кто-нибудь из городских хотел подойти к нему.

Я мало видал мест изящнее Васильевского. Кто знает Кунцево и Архангельское Юсупова или именье Лопухина против Саввина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежит на продолжении того же берега верст тридцать от Саввина монастыря. На отлогой стороне – село, церковь и старый господский дом. По другую сторону – гора и небольшая деревенька, там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом; озера

³⁹ для данного случая (лат.).

нив, колеблясь, стлались без конца; разные усадьбы и села с белеющими церквями видны были там-сям; леса разных цветов делали полукруглую раму, и через все – голубая тесьма Москвы-реки. Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал.

При всем том мне было жаль старый каменный дом, может, оттого, что я в нем встретился в первый раз с деревней; я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сенях росла тоненькая, стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки; на этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро – лет одиннадцати, двенадцати. Перед домом сиживал почти всегда сгорбленный старик садовник, троил мятную воду, отваривал ягоды и тайком кормил меня всякой овощью. В саду было множество ворон; гнезда их покрывали макушки деревьев, они кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево, и все затихнет... А к ночи издали где-то сова то плачет, как ребенок, то заливается хохотом... Я боялся этих диких, плачевных звуков, а все-таки ходил их слушать.

Каждый год или по крайней мере через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зайцем и векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, причем, само собою разумеется, вся дворня была занята и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера; рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса, читал сам себе вслух; тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал философскую статью о Шиллеровом Валленштейне – и из прежних игр удержался в силе один фальконет.

Впрочем, сверх пальбы, еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью – сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко-светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня, распускалось в нем... Вдруг густой пурпур сменился синей темнотой; все подернулось дымчатым испарением, – в Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на мулов; по дороге из Фраскати в Рим надобно было проезжать небольшою деревенькой; кой-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни, в нише, стояла небольшая мадонна, перед нею горел фонарь; крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустились на колени и запели молитву, к ним присоединились шедшие мимо нищие пиферари;⁴⁰ я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга... и тихим шагом поехали к остерии,⁴¹ где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать?

Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,

⁴⁰ музыканты, играющие на дудке (от ит. pifferare).

⁴¹ ресторану (от ит. osteria).

И расходилось по домам
Уныло медленное стадо

«Юмор»

...Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычание, бляенье, топанье по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курцгалопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе – но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрипя воротами, выходят дети, девочки – встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно-чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху при-мешивается паленый запах овинов, роса начинает исподволь стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожь, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вера Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говорит, найдя меня под липой:

– Что это вас нигде не сыщешь, и чай давно подан, и все в сборе, я уже искала, искала вас, ноги устали, не под лета мне бегать; да и что это на сырой траве лежать?.. вот будет завтра насморк, непременно будет.

– Ну, полноте, полноте, – говорил я, смеясь, старушке, – и насморку не будет, и чаю я не хочу, а вы мне украдете сливок получше, с самого верху.

– В самом деле, уж какой вы, на вас и сердиться нельзя... лакомство какое! сливки-то я уже и без вашего спроса приготвила. А вот зарница... хорошо! это к хлебу зарит.

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.

После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжение моей ссылки мой отец продал его. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст двадцать от Васильевского. Как же было не съездить на старое пепелище. И вот мы опять едем тем же проселком; открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником, а тут и брод через реку, этот брод, приводивший меня двадцать лет тому назад в восторг, – вода брызжет, мелкие камни хрустят, кучера кричат, лошади упираются... ну вот и село, и дом священника, где он сиживал на лавочке в буром подряснике, простодушный, добрый, рыжеватый, вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавший и постоянно одержимый икотой; вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнув третий палец под него. Священник умер, Василий Епифанов пишет отчеты и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостихи, муж ее был на поле.

Что-то чужое прошло тут в эти десять лет; вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках; оно мне показывало что-то; я подошел – это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая в огороде прежнего священника; ей было тогда уже лет около семидесяти, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: «Ох, уже и ты-то как состарился, я по поступи тебя только и узнала, а я – уж, я-то, – о-о-ох – и не говори!»

Когда мы ехали назад, я увидел издали на поле старосту, того же, который был при нас, он сначала не узнал меня, но, когда мы проехали, он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся, староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед; его высокая бородатая фигура, кланяющаяся середь нивы, знакомо проводила нас из отчуждившегося Васильевского.

ГЛАВА IV

«Напиши тогда, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей».
Письмо 1833

Ник и Воробьевы горы

Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке; он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем, – прибавил он, – мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака, – это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него – к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника, матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом:

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно обычай был старинный,
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.

Старушка, бабушка моя,
На креслах опершись, стояла,

Молитву шепотом творя,
И четки всё перебирала;
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел...
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.

И все такую тишиной
Кругом дышало, только чтение
Дьячков звучало, и с душой
Дружились тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущение
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал.

«Юмор»

...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана», от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта – переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

– Всё так, – заметил юный князь О., – но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега, стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича Константина!

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей природы привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хра-

нит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места – Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль – Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересиличишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки; дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина самого покупать в лавки готовые сапоги, Переворот Зонненберга так же, как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, – но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и *sans-gene*⁴² филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минут шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух.

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную, службу состариться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца – беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запахавшись и покрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии, – сделался последним.

⁴² бесцеремонности (фр.).

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но не она нас сокрушила, и ей мы не сдались несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны, – свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно».

«Напиши, – заключал он, – как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей».

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей – А. Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем, – но не с Ником.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане он с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, – на беду ли, на счастье ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой, писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827—28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предвещающая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина, – может, ей попадутся эти строки, и она его пришлет мне.

Я не знаю, почему дают какой-то монополю воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она – страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать ты и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру.⁴³

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» и благословить судьбу, если у вас *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bettina

⁴³ «Philosophische Briefe» – «Философские письма» (нем.) (Прим. А. И. Герцена.)

will schlafen»,⁴⁴ но в свое время этот отроческий язык, этот jargon de la puberte,⁴⁵ эта перемена психического голоса – очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества.

Шиллер остался нашим любимцем,⁴⁶ лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда – торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненные, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *«Вот и все!»*

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я наши воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл – смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена.⁴⁷

... А не странно ли подумать, что, умея Зонненберг плавать или утони он тогда в Москверке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы, тайком куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу.

Он не забыл его – наш «старый дом».

Старый дом, старый друг! посетил я
Наконец в запустенье тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой.
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый, тлел он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

⁴⁴ Беттина хочет спать (нем.).

⁴⁵ жаргон возмужалости (фр.).

⁴⁶ Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния, несколько месяцев тому назад я читал моему сыну «Валленштейна», это гигантское произведение! Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых altkluge Burschen [молодых старичках], которые так хорошо знают недостатки его в семнадцать лет?.. (Прим. А. И. Герцена.)

⁴⁷ Писано в 1853 году. (Прим. А. И. Герцена.)

Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили.
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой.
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба светлая выросла там;
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.

ГЛАВА V

Подробности домашнего житья. – Люди XVIII века в России. – День у нас в доме. – Гости и *habitués*.⁴⁸ – Зонненберг. – Камердинер и проч.

Невыносимая скука нашего дома росла с каждым годом. Если б не близок был университетский курс, не новая дружба, не политическое увлечение и не живость характера, я бежал бы или погиб.

Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа, он постоянно был всем недоволен. Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил; светский человек *accompli*,⁴⁹ он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение от всех.

Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его. Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил, или это было просто следствие встречи двух вещей до того противоположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию, – помещицъей праздности.

Прошрое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в «окно» гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур; прошрое столетие, напротив, вызвало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада – русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме.

К этому кругу принадлежал в Москве на первом плане блестящий умом и богатством русский вельможа, европейский *grand seigneur*⁵⁰ и татарский князь Н. Б. Юсупов. Около него была целая плеяда седых волокит и *esprits forts*,⁵¹ всех этих Масальских, Санти и *tutti quanti*.⁵² Все они были люди довольно развитые и образованные – оставленные без дела, они бросились на наслаждения, холили себя, любили себя, отпускали себе добродушно все прегрешения, возвышались до платонической страсти свою гастрономию и сводили любовь к женщинам на какое-то обжорливое лакомство.

Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касти, был одарен действительно артистическим вкусом. Чтoб в этом убедиться, достаточно раз побывать в Архангельском, поглядеть на его галереи, если их еще не продал вразбивку его наследник. Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный мраморной, рисованной и живой красотой.

⁴⁸ *zavsegдатаи* (фр.).

⁴⁹ *совершенный* (фр.).

⁵⁰ *большой барин* (фр.).

⁵¹ *вольнодумцев* (фр.).

⁵² *всяких других* (ит.).

В его загородном доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудное послание, и рисовал Гонзага, которому Юсупов посвятил свой театр.

Мой отец по воспитанию, по гвардейской службе, по жизни и связям принадлежал к этому же кругу; но ему ни его нрав, ни его здоровье не позволяли вести до семидесяти лет ветреную жизнь, и он перешел в противоположную крайность. Он хотел себе устроить жизнь одинокую, в ней его ждала смертельная скука, тем более что он только для себя хотел ее устроить. Твердая воля превращалась в упрямые капризы, незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым.

Когда он воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски, он *a la lettre*⁵³ не читал ни одной русской книги, ни даже Библии. Впрочем, Библии он и на других языках не читал, он знал понаслышке и по отрывкам, о чем идет речь вообще в Св. писании, и дальше не любопытствовал заглянуть. Он уважал, правда, Державина и Крылова: Державина за то, что написал оду на смерть его дяди князя Мещерского, Крылова за то, что вместе с ним был секундантом на дуэли Н. Н. Бахметева. Как-то мой отец принялся за Карамзина «Историю государства Российского», узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря: «Всё Изяславичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?»

Людей он презирал откровенно, открыто – всех. Ни в каком случае он не считал ни на кого, и я не помню, чтоб он к кому-нибудь обращался с значительной просьбой. Он и сам ни для кого ничего не делал. В сношениях с посторонними он требовал одного – сохранения приличий; *les apparences, les convenances*⁵⁴ составляли его нравственную религию. Он много прощал или, лучше, пропускал сквозь пальцы, но нарушения форм и приличий выводили его из себя, и тут он становился без всякой терпимости, без малейшего снисхождения и сострадания. Я так долго возмущался против этой несправедливости, что наконец понял ее: он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное и если не делает, то или не имеет нужды, или случай не подходит; в нарушении же форм он видел личную обиду, неуважение к нему или «мещанское воспитание», которое, по его мнению, отлучало человека от всякого людского общества.

«Душа человеческая, – говаривал он, – потемки, и кто знает, что у кого на душе; у меня своих дел слишком много, чтоб заниматься другими да еще судить и пересуживать их намерения; но с человеком дурно воспитанным я в одной комнате не могу быть, он меня оскорбляет, фруасирует,⁵⁵ а там он может быть добрейший в мире человек, за то ему будет место в раю, но мне его не надобно. В жизни всего важнее *esprit de conduite*,⁵⁶ важнее превыспренного ума и всякого ученья. Везде уметь найтиться, нигде не соваться вперед, со всеми чрезвычайная вежливость и ни с кем фамильярности».

Отец мой не любил никакого *abandon*,⁵⁷ никакой откровенности, он все это называл фамильярностью, так, как всякое чувство – сентиментальностью. Он постоянно представлял из себя человека, стоящего выше всех этих мелочей; для чего, с какой целью? в чем состоял высший интерес, которому жертвовалось сердце? – я не знаю. И для кого этот гордый старик, так искренно презиравший людей, так хорошо знавший их, представлял свою роль бесстрастного судьи? – для женщины, которой волю он сломил, несмотря на то что она иногда ему про-

⁵³ буквально (фр.).

⁵⁴ видимость приличия (фр.).

⁵⁵ задевает, раздражает (от фр. *froisser*).

⁵⁶ умение вести себя (фр.).

⁵⁷ вольности, несдержанности (фр.).

тивуречила, для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора, для мальчика, из резвости которого он развил непокорность, для дюжины лакеев, которых он не считал людьми!

И сколько сил, терпения было употреблено на это, сколько настойчивости и как удивительно верно была доиграна роль, несмотря ни на лета, ни на болезни. Действительно, душа человеческая – потемки.

Впоследствии я видел, когда меня арестовали, и потом, когда отправляли в ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал. Я никогда не поблагодарил его за это, не зная, как бы он принял мою благодарность.

Разумеется, он не был счастлив, всегда настороже, всем недовольный, он видел с стесненным сердцем неприязненные чувства, вызванные им у всех домашних; он видел, как улыбка пропадала с лица, как останавливалась речь, когда он входил; он говорил об этом с насмешкой, с досадой, но не делал ни одной уступки и шел с величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмешка, ирония, холодная, язвительная и полная презрения, – было орудие, которым он владел артистически, он его равно употреблял против нас и против слуг. В первую юность многое можно скорее вынести, нежели шпынянье, и я в самом деле до тюрьмы удалялся от моего отца и вел против него маленькую войну, соединяясь с слугами и служанками.

Ко всему остальному, он уверил себя, что он опасно болен, и беспрестанно лечился; сверх домового лекаря, к нему ездили два или три доктора, и он делал, по крайней мере, три консилиума в год. Гости, видя постоянно неприязненный вид его и слушая одни жалобы на здоровье, которое далеко не было так дурно, редели. Он сердился за это, но ни одного человека не упрекнул, не пригласил. Страшная скука царила в доме, особенно в бесконечные зимние вечера – две лампы освещали целую анфиладу комнат; сгорбившись и заложив руки на спину, в суконных или поярковых сапогах (вроде валенок), в бархатной шапочке и в тулупе из белых мерлушек ходил старик взад и вперед, не говоря ни слова, в сопровождении двух-трех коричневых собак.

Вместе с меланхолией росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своим именем он управлял дурно для себя и дурно для крестьян. Старосты и его *missi dominici*⁵⁸ грабили барина и мужиков; зато все находившееся на глазах было подвержено двойному контролю; тут береглись свечи и тощий *vin de Graves*⁵⁹ заменялся кислым крымским вином в то самое время, как в одной деревне сводили целый лес, а в другой ему же продавали его собственный овес. У него были привилегированные воры; крестьянин, которого он сделал сборщиком оброка в Москве и которого посылал всякое лето ревизовать старосту, огород, лес и работы, купил лет через десять в Москве дом. Я с детства ненавидел этого министра без портфеля, он при мне раз на дворе бил какого-то старого крестьянина, я от бешенства вцепился ему в бороду и чуть не упал в обморок. С тех пор я не мог на него равнодушно смотреть до самой его смерти в 1845 году. Я несколько раз говорил моему отцу:

– Откуда же Шкун взял деньги на покупку дома?

– Вот что значит трезвость, – отвечал мне старик, – он капли вина в рот не берет.

Всякий год около масленицы пензенские крестьяне привозили из-под Керенска оброк *натурой*. Недели две тащился бедный обоз, нагруженный свинными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был праздником для всей дворни, они грабили мужиков, обсчитывали на каждом шагу, и притом без малейшего права. Кучера с них брали *за воду* в колодце, не позволяя поить лошадей без платы; бабы – *за тепло* в избе; аристократам передней они должны были кланяться кому поросенком и полотенцем, кому гусем и маслом. Все время их пребывания на барском дворе шел пир горой у прислуги, делались селянки, жарились поросята, и в перед-

⁵⁸ господские сподручные (лат.).

⁵⁹ сорт белого вина (фр.).

ней носился постоянно запах лука, подгорелого жира и сивухи, уже выпитой. Бакай последние два дня не входил в переднюю и не вполне одевался, а сидел в накинутах старой ливрейной шинели, без жилета и куртки, в сенях кухни. Никита Андреевич видимо худел и становился смуглее и старше. Отец мой выносил все это довольно спокойно, зная, что это необходимо и отворотить этого нельзя.

После приема мерзлой *живности* отец мой, – и тут самая замечательная черта в том, что эта шутка повторялась ежегодно, – призывал повара Спиридона и отправлял его в Охотный ряд и на Смоленский рынок узнать цены. Повар возвращался с баснословными ценами, меньше чем вполовину. Отец мой говорил, что он дурак, и посылал за Шкуном или Слепушкиным. Слепушкин торговал фруктами у Ильинских ворот. И тот и другой находили цены повара ужасно низкими, справлялись и приносили цены повыше. Наконец Слепушкин предлагал взять все огулом: и яйца, и поросят, и масло, и рожь, «чтоб вашему-то здоровью, батюшка, никакого беспокойства не было». Цену он давал, само собою разумеется, несколько выше поварской. Отец мой соглашался, Слепушкин приносил ему на спрыски апельсинов с пряниками, а повару – двухсотрублевую ассигнацию.

Слепушкин этот был в большой милости у моего отца и часто занимал у него деньги, он и тут был оригинален, именно потому, что глубоко изучил характер старика.

Выпросит, бывало, себе рублей пятьсот месяца на два и за день до срока является в переднюю с каким-нибудь куличом на блюде и с пятьюстами рублей на куличе. Отец мой брал деньги, Слепушкин кланялся в пояс и просил ручку, которую барин не давал. Но дня через три Слепушкин снова приходил просить денег взаймы, тысячи полторы. Отец ему давал, и Слепушкин снова приносил в срок; отец мой ставил его в пример; а тот через неделю увеличивал куш и имел, таким образом, для своих оборотов тысяч пять в год наличными деньгами, за небольшие проценты двух-трех куличей, несколько фунтов фиг и грецких орехов да сотню апельсинов и крымских яблоков.

В заключение упомяну, как в Новоселье пропало несколько сот десятин строевого леса. В сороковых годах М. Ф. Орлов, которому тогда, помнится, графиня Анна Алексеевна давала капитал для покупки имения его детям, стал торговать тверское имение, доставшееся моему отцу от Сенатора. Сошлись в цене, и дело казалось оконченным. Орлов поехал осмотреть и, осмотревши, написал моему отцу, что он ему показывал на плане лес, но что этого леса вовсе нет.

– Ведь вот умный человек, – говорил мой отец, – и в конспирации был, книгу писал *des finances*,⁶⁰ а как до дела дошло, видно, что пустой человек... Неккеры! А я вот попрошу Григория Ивановича съездить, он не конспиратор, но честный человек и дело знает.

Поехал и Григорий Иванович в Новоселье и привез весть, что леса нет, а есть только лесная декорация, так что ни из господского дома, ни с большой дороги порубки не бросаются в глаза. Сенатор после раздела, на худой конец, был пять раз в Новоселье, и все оставалось шито и крыто.

Чтоб дать полное понятие о нашем житье-бытье, опишу целый день с утра; однообразность была именно одна из самых убийственных вещей, жизнь у нас шла как английские часы, у которых убавлен ход, – тихо, правильно и громко напоминая каждую секунду.

В десятом часу утра камердинер, сидевший в комнате возле спальни, уведомлял Веру Артамоновну, мою экс-нянюшку, что барин встает. Она отправлялась готовить кофе, который он пил один в своем кабинете. Все в доме принимало иной вид, люди начинали чистить комнаты, по крайней мере показывали вид, что делают что-нибудь. Передняя, до тех пор пустая, наполнялась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбет садилась перед печью и, не мигая, смотрела в огонь.

⁶⁰ о финансах (фр.).

За кофеем старик читал «Московские ведомости» и «Journal de St Pétersbourg»; не мешаает заметить, что «Московские ведомости» было велено греть, чтоб не простудить рук от сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте, находя русский неясным. Одно время он брал откуда-то гамбургскую газету, но не мог примириться, что немцы печатают немецкими буквами, всякий раз показывал мне разницу между французской печатью и немецкой и говорил, что от этих вычурных готических букв с хвостиками слабеет зрение. Потом он выписывал «Journal de Francfort», а впоследствии ограничивался отечественными газетами.

Окончив чтение, он примечал, что в его комнате уже находится Карл Иванович Зонненберг. Когда Нику было лет пятнадцать, Карл Иванович завел было лавку, но, не имея ни товара, ни покупателей и растратив кой-как сколоченные деньги на эту полезную торговлю, он ее оставил с почетным титулом «ревельского негоцианта». Ему было тогда гораздо лет за сорок, и он в этот приятный возраст повел жизнь птички божьей или четырнадцатилетнего мальчика, то есть не знал, где завтра будет спать и на что обедать. Он пользовался некоторым благорасположением моего отца; мы сейчас увидим, что это значит.

В 1830 году отец мой купил возле нашего дома другой, больше, лучше и с садом; дом этот принадлежал графине Ростопчиной, жене знаменитого Федора Васильевича. Мы перешли в него. Вслед за тем он купил третий дом, уже совершенно не нужный, но смежный. Оба эти дома стояли пустые, внаймы они не отдавались, в предупреждение пожара (дома были застрахованы) и беспокойства от наемщиков; они, сверх того, и не поправлялись, так что были на самой верной дороге к разрушению. В одном-то из них дозволялось жить бесприютному Карлу Ивановичу с условием ворот после десяти часов вечера не отпирать, – условие легкое, потому что они никогда и не запирались; дрова покупать, а не брать из домашнего запаса (он их действительно покупал у нашего кучера) и состоять при моем отце в должности чиновника особых поручений, то есть приходиться поутру с вопросом, нет ли каких приказаний, являться к обеду и приходиться вечером, когда никого не было, занимать повествованиями и новостями.

Как ни проста, кажется, была должность Карла Ивановича, но отец мой умел ей придать столько горечи, что мой бедный ревелец, привыкший ко всем бедствиям, которые могут обрушиться на голову человека без денег, без ума, маленького роста, рябого и немца, не мог постоянно выносить ее. Года в два, в полтора глубоко оскорбленный Карл Иванович объявлял, что «это вовсе несносно», укладывался, покупал и менял разные вещички подозрительной целостности и сомнительного качества и отправлялся на Кавказ. Неудачи его обыкновенно преследовали с ожесточением. То клячонка его, – он ездил на своей лошади в Тифлис и в Редут-Кале, – падала неподалеку Земли донских казаков, то у него крали половину груза, то его двухколесная таратайка падала, причем французские духи лились, никем не оцененные, у подножия Эльбруса на сломанное колесо; то он терял что-нибудь, и когда нечего было терять, терял свой пасс. Месяцев через десять обыкновенно Карл Иванович, постарше, поизмятее, победнее и еще с меньшим числом зубов и волос, смиренно являлся к моему отцу с запасом персидского порошку от блох и клопов, линялой тармаламы, ржавых черкесских кинжалов и снова поселялся в пустом доме на тех же условиях: исполнять комиссии и печь топить своими дровами.

Приметив Карла Ивановича, отец мой тотчас начинал небольшие военные действия против него. Карл Иванович осведомлялся о здоровье, старик благодарил поклоном и потом, подумавши, спрашивал, например:

– Где вы покупаете помаду?

При этом необходимо сказать, что Карл Иванович, пребезобразнейший из смертных, был страшный волокита, считал себя Ловласом, одевался с претензией и носил завитую золотисто-белокурую накладку. Все это, разумеется, давно было взвешено и оценено моим отцом.

– У Буйс, на Кузнецкой мост, – отрывисто отвечал Карл Иванович, несколько пикированный, и ставил одну ногу на другую, как человек, готовый постоять за себя.

– Как называется этот запах?

– Нахтфиолен,⁶¹ – отвечал Карл Иванович.

– Он вас обманывает, violette⁶² – это запах нежный, c'est un parfum,⁶³ а это какой-то крепкий, противный, тела бальзамируют чем-то таким; куда нервы стали у меня слабы, мне даже тошно сделалось, велите-ка мне дать одеколон.

Карл Иванович сам бросался за склянкой.

– Да нет, вы уж позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мне делается дурно, я упаду.

Карл Иванович, рассчитывавший на действие своей помады на девичью, глубоко огорчился.

Опрыскавши комнату одеколоном, отец мой придумывал комиссии: купить французского табаку, английской магнезии, посмотреть продажную по газетам карету (он ничего не покупал). Карл Иванович, приятно раскланявшись и душевно довольный, что отделался, уходил до обеда.

После Карла Ивановича являлся повар; что б он ни купил и что б ни написал, отец мой находил чрезмерно дорогим.

– У-у, какая дороговизна! что это, подвозов, что ли, нет?

– Точно так-с, – отвечал повар, – дороги очень дурны.

– Ну, так, знаешь, пока их починят, мы с тобой будем поменьше покупать.

После этого он садился за свой письменный стол, писал отписки и приказания в деревни, сводил счета, между делом журил меня, принимал доктора, а главное – ссорился с своим камердинером. Это был первый пациент во всем доме. Небольшого роста, сангвиник, вспыльчивый и сердитый, он, как нарочно, был создан для того, чтоб дразнить моего отца и вызывать его поучения. Сцены, повторявшиеся между ними всякий день, могли бы наполнить любую комедию, а все это было совершенно серьезно. Отец мой очень знал, что человек этот ему необходим, и часто сносил крупные ответы его, но не переставал воспитывать его, несмотря на безуспешные усилия в продолжение тридцати пяти лет. Камердинер, с своей стороны, не вынес бы такой жизни, если б не имел своего развлечения: он по большей части к обеду был несколько навеселе. Отец мой замечал это и ограничивался легкими околичнословиями, например, советом закусывать черным хлебом с солью, чтоб не пахло водкой. Никита Андреевич имел обыкновение, выпивши, подавая блюда, особенно расшаркиваться. Как только мой отец замечал это, он выдумывал ему поручение, посылал его, например, спросить у «цирюльника Антона, не переменял ли он квартиры», прибавляя мне по-французски:

– Я знаю, что он не съезжал, но он нетрезв, уронит суповую чашку, разобьет ее, обольет скатерть и перепугает меня; пусть он проветрится, le grand air⁶⁴ помогает.

Камердинер обыкновенно при таких проделках что-нибудь отвечал; но когда не находил ответа в глаза, то, выходя, бормотал сквозь зубы. Тогда барин, тем же спокойным голосом, звал его и спрашивал, что он ему сказал?

– Я не докладывал ни слова.

– С кем же ты говоришь? кроме меня и тебя, никого нет ни в этой комнате, ни в той.

– Сам с собой.

– Это очень опасно, с этого начинается сумасшествие. Камердинер с бешенством уходил в свою комнату возле спальни; там он читал «Московские ведомости» и тресировал⁶⁵ волосы

⁶¹ Ночная фиалка (от нем. Nachtviole).

⁶² фиалка (фр.).

⁶³ это благоухание (фр.).

⁶⁴ свежий воздух (фр.).

⁶⁵ заплетал (от фр. tresser).

для продажных париков. Вероятно, чтоб отвести сердце, он свирепо нюхал табак; табак ли был у него силен, нервы носа, что ли, были слабы, но он вследствие этого почти всегда раз шесть или семь чихал.

Барин звонил. Камердинер бросал свою пачку волос и входил.

– Это ты чихаешь?

– Я-с.

– Желаю здравствовать. – И он давал рукой знак, чтоб камердинер удалился.

В последний день масленицы все люди, по старинному обычаю, приходили вечером просить прощения к барину; в этих торжественных случаях мой отец выходил в залу, сопровождаемый камердинером. Тут он делал вид, будто не всех узнает.

– Что это за почтенный старец стоит там в углу? – спрашивал он камердинера.

– Кучер Данило, – отвечал отрывисто камердинер, зная, что все это – одно драматическое представление.

– Скажи пожалуйста, как он переменялся! я, право, думаю, что это все от вина люди так стареют; чем он занимается?

– Дрова *таскает* в печи.

Старик делал вид нестерпимой боли.

– Как это ты в тридцать лет не научился говорить?.. таскает – как это таскать дрова? – дрова носят, а не таскают. Ну, Данило, слава богу, господь сподобил меня еще раз тебя видеть. Прощаю тебе все грехи за сей год и овес, который ты трагишь безмерно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Потаскай еще дровец, пока силенка есть, ну, а теперь настает пост, так вина употребляй поменьше, в наши лета вредно, да и грех.

В этом роде он делал общий смотр.

Обедали мы в четвертом часу. Обед длился долго и был очень скучен. Спиридон был отличный повар; но, с одной стороны, экономия моего отца, а с другой – его собственная делали обед довольно тощим, несмотря на то что блюд было много. Возле моего отца стоял красный глиняный таз, в который он сам клал разные куски для собак; сверх того, он их кормил с своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и, следовательно, меня. Почему? Трудно сказать...

Гости вообще ездили редко, обедать – еще реже. Помню одного человека из всех посещавших нас, которого приезд к обеду разглаживал иной раз морщины моего отца, – Н. Н. Бахметев. Н. Н. Бахметев, брат хромого генерала и тоже генерал, но давно в отставке, был дружен с ним еще во время их службы в Измайловском полку. Они вместе кутили с ним при Екатерине, при Павле оба были под военным судом: Бахметев за то, что стрелялся с кем-то, а мой отец – за то, что был секундантом; потом один уехал в чужие края – туристом, а другой в Уфу – губернатором. Сходства между ними не было. Бахметев, полный, здоровый и красивый старик, любил и хорошенько поесть, и выпить немного, любил веселую беседу и многое другое. Он хвастался, что во время оно съедал до ста подовых пирожков и мог, лет около шестидесяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневых блинов, потонувших в луже масла; этим опытом я бывал не раз свидетель.

Бахметев имел какую-то тень влияния или, по крайней мере, держал моего отца в узде. Когда Бахметев замечал, что мой отец уж через край не в духе, он надевал шляпу и, шаркая по-военному ногами, говорил:

– До свидания, – ты сегодня болен и глуп; я хотел обедать, но я за обедом терпеть не могу кислых лиц! Гегорсамер динер!..⁶⁶

А отец мой, в виде пояснения, говорил мне:

⁶⁶ Покорный слуга!.. (от нем. gehorsamer Diener).

– *Impressario!*⁶⁷ какой живой еще Н. Н.! Слава богу, здоровый человек, ему понять нельзя нашего брата, Иова многострадального; мороз в двадцать градусов, он скачет в санках, как ничего... с Покровки... а я благодарю создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О... о... ох! недаром пословица говорит: сытый голодного не понимает!

Больше снисходительности нельзя было от него ждать.

Изредка давались семейные обеды, на которых бывал Сенатор, Голохвастовы и прочие, и эти обеды давались не из удовольствия и неспроста, а были основаны на глубоких экономико-политических соображениях. Так, 20 февраля, в день Льва Катанского, то есть в именины Сенатора, обед был у нас, а 24 июня, то есть в Иванов день, – у Сенатора, что, сверх морального примера братской любви, избавляло того и другого от гораздо большего обеда у себя.

Затем были разные *habitués*; тут являлся *ex officio*⁶⁸ Карл Иванович Зонненберг, который, хвативши дома перед самым обедом рюмку водки и закусивши ревельской килькой, отказывался от крошечной рюмочки какой-то особенно настоящей водки; иногда приезжал последний французский учитель мой, старик-скряга, с дерзкой рожой и сплетник. *Monsieur Thirie* так часто ошибался, наливая вино в стакан, вместо пива, и выпивая его в извинение, что отец мой впоследствии говорил ему:

– С правой стороны вашей стоит *vin de Graves*, вы опять не ошибитесь, – и Тирье, пихая огромную щепотку табаку в широкий и вздернутый в одну сторону нос, сыпал табак на тарелку.

В числе этих посетителей одно лицо было в высшей степени комическое. Небольшой лысенький старичок, постоянно одетый в узенький и короткий фрак и в жилет, оканчивавшийся там, где нынче жилет собственно начинается, с тоненькой тросточкой, он представлял всей своей фигурой двадцать лет назад, в 1830–1810 год, а в 1840–1820 год. Дмитрий Иванович Пименов, статский советник по чину, был один из начальников Шереметевского странноприимного дома, и притом занимался литературой. Скупой наделенный природой и воспитанный на сентиментальных фразах Карамзина, на Мармонтеле и Мариво, Пименов мог стать средним братом между Шаликовым и В. Панаевым. Вольтер этой почтенной фаланги был начальник тайной полиции при Александре – Яков Иванович де Санглен; ее молодой человек, подававший надежды, – Пимен Арапов. Все это примыкало к общему патриарху Ивану Ивановичу Дмитриеву; у него соперников не было, а был Василий Львович Пушкин. Пименов всякий вторник являлся к «ветхому деньми» Дмитриеву, в его дом на Садовой, рассуждать о красотах стиля и об испорченности нового языка. Дмитрий Иванович сам искусился на скользком поприще отечественной словесности; сначала он издал «Мысли герцога де Ларошфуко», потом трактат «О женской красоте и прелести». В этом трактате, которого я не брал в руки с шестнадцатилетнего возраста, я помню только длинные сравнения в том роде, как Плутарх сравнивает героев – блондинок с черноволосыми. «Хотя блондинка – то, то и то, но черноволосая женщина зато – то, то и то...» Главная особенность Пименова состояла не в том, что он издавал когда-то книжки, никогда никем не читанные, а в том, что если он начинал хохотать, то он не мог остановиться, и смех у него вырастал в припадки коклюша, со взрывами и глухими раскатами. Он знал это и потому, предчувствуя что-нибудь смешное, брал мало-помалу свои меры: вынимал носовой платок, смотрел на часы, застегивал фрак, закрывал обеими руками лицо и, когда наступал кризис, – вставал, оборачивался к стене, упирался в нее и мучился полчаса и больше, потом, усталый от пароксизма, красный, обтирая пот с плешивой головы, он садился, но еще долго потом его схватывало.

Разумеется, мой отец не ставил его ни в грош, он был тих, добр, неловок, литератор и бедный человек, – стало, по всем условиям стоял за цензом; но его судорожную смешливость он очень хорошо заметил. В силу чего он заставлял его смеяться до того, что все остальные начи-

⁶⁷ Здесь: предприимчивый (ит.).

⁶⁸ по обязанности (лат.).

нали, под его влиянием, тоже как-то неестественно хохотать. Виновник глумления, немного улыбаясь, глядел тогда на нас, как человек смотрит на возню щенят.

Иногда мой отец делал с несчастным ценителем женской красоты и прелести ужасные вещи.

– Инженер-полковник такой-то, – докладывал человек.

– Проси, – говорил мой отец и, обращаясь к Пименову, прибавлял: – Дмитрий Иванович, пожалуйста, будьте осторожны при нем; у него несчастный тик, когда он говорит, как-то странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка. – При этом он представлял совершенно верно полковника. – Я знаю, вы человек смешливый, пожалуйста, воздержитесь.

Этого было довольно. По второму слову инженера Пименов вынимал платок, делал зонтик из руки и, наконец, вскакивал.

Инженер смотрел с изумлением, а отец мой говорил мне преспокойно:

– Что это с Дмитрием Ивановичем? Il est malade,⁶⁹ это – спазмы; вели поскорее подать стакан холодной воды да принеси одеколон.

Пименов хватал в подобных случаях шляпу и хохотал до Арбатских ворот, останавливаясь на перекрестках и опираясь на фонарные столбы.

Он в продолжение нескольких лет постоянно через воскресенье обедал у нас, и равно его аккуратность и неаккуратность, если он пропускал, сердили моего отца, и он теснил его. А добрый Пименов все-таки ходил и ходил пешком от Красных ворот в Старую Конюшенную до тех пор, пока умер, и притом совсем не смешно. Одинокий, холостой старик, после долгой хворости, умирающими глазами видел, как его экономка забирала его вещи, платья, даже белье с постели, оставляя его без всякого ухода.

Но настоящие souffre-douleur'ы⁷⁰ обеда были разные старухи, убогие и кочующие приживалки княгини М. А. Хованской (сестры моего отца). Для перемены, а долею для того, чтоб осведомиться, как все обстоит в доме у нас, не было ли ссоры между господами, не дрался ли повар с своей женой и не узнал ли барин, что Палашка или Уляша с прибылью, – прихаживали они иногда в праздники на целый день. Надобно заметить, что эти вдовы еще незамужними, лет сорок, пятьдесят тому назад, были прибежны к дому княгини и княжны Мещерской и с тех пор знали моего отца; что в этот промежуток между молодым шатаньем и старым кочевьем они лет двадцать бранились с мужьями, удерживали их от пьянства, ходили за ними в параличе и снесли их на кладбище. Одни таскались с каким-нибудь гарнизонным офицером и охапкой детей в Бессарабии, другие состояли годы под судом с мужем, и все эти опыты жизненные оставили на них следы повиитий и уездных городов, боязнь сильных мира сего, дух уничижения и какое-то тупоумное изуверство.

С ними бывали сцены удивительные.

– Да ты что это, Анна Якимовна, больна, что ли, ничего не кушаешь? – спрашивал мой отец.

Скорчившаяся, с поношенным и вылинялым лицом старушонка, вдова какого-то смотрителя в Кременчуге, постоянно и сильно пахнувшая каким-то пластырем, отвечала, унижаясь глазами и пальцами:

– Простите, батюшка, Иван Алексеевич, право-с, уж мне совестно-с, да так-с, по-старинному-с, ха, ха, ха, теперь спажинки.

– Ах, какая скука! Набоженство все! Не то, матушка, сквернит, что в уста входит, а что из-за уст; то ли есть, другое ли – один исход; вот что из уст выходит – надобно наблюдать...

⁶⁹ Он болен (фр.).

⁷⁰ козлы отпущения (фр.).

пересуды да о ближнем. Ну, лучше ты обедала бы дома в такие дни, а то тут еще турок придет – ему пилав надобно, у меня не герберг⁷¹ а la carte.⁷²

Испуганная старуха, имевшая в виду, сверх того, попросить крупки да мучки, бросалась на квас и салат, делая вид, что страшно ест.

Но замечательно то, что стоило ей или кому-нибудь из них начать есть скоромное в пост, отец мой (никогда не употреблявший постного) говорил, скорбно качая головой:

– Не стоило бы, кажется, Анна Якимовна, на несколько последних лет менять обычай предков. Я грешу, ем скоромное по множеству болезней; ну, а ты, по твоим летам, слава богу, всю жизнь соблюдала посты, и вдруг... что за пример для них.

Он указывал на прислугу. И бедная старуха снова бросалась на квас да на салат.

Сцены эти сильно возмущали меня; иной раз я дерзал вступаться и напоминал противоположное мнение. Тогда отец мой привставал, снимал с себя за кисточку бархатную шапочку и, держа ее на воздухе, благодарил меня за уроки и просил извинить забывчивость, а потом говорил старухе:

– Ужасный век! Мудрено ли, что ты кушаешь скоромное постом, когда дети учат родителей! Куда мы идем? Подумать страшно! Мы с тобой, по счастью, не увидим.

После обеда мой отец ложился отдохнуть часа на полтора. Дворня тотчас рассыпалась по полпивным и по трактирам. В семь часов приготавливали чай; тут иногда кто-нибудь приезжал, всего чаще Сенатор; это было время отдыха для нас. Сенатор привозил обыкновенно разные новости и рассказывал их с жаром. Отец мой показывал вид совершенного невнимания, слушая его: делал серьезную мину, когда тот был уверен, что морит со смеху, и переспрашивал, как будто не слышал, в чем дело, если тот рассказывал что-нибудь поразительное.

Сенатору доставалось и не так, когда он противуречил или был не одного мнения с меньшим братом, что, впрочем, случалось очень редко; а иногда без всяких противуречий, когда мой отец был особенно не в духе. При этих комико-трагических сценах, что всего было смешнее, это естественная запальчивость Сенатора и натянутое, искусственное хладнокровие моего отца.

– Ну, ты сегодня болен, – говорил нетерпеливо Сенатор, хватал шляпу и бросался вон.

Раз в досаде он не мог отворить дверь и толкнул ее, что есть сил, ногой, говоря: «Что за проклятые двери!»

Мой отец спокойно подошел, отворил дверь в противоположную сторону и совершенно тихим голосом заметил:

– Дверь эта делает свое дело, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда и сердитесь.

При этом не мешает заметить, что Сенатор был двумя годами старше моего отца и говорил ему ты, а тот, в качестве меньшего брата, – вы.

После Сенатора отец мой отправлялся в свою спальную, всякий раз осведомлялся о том, заперты ли ворота, получал утвердительный ответ, изъявлял некоторое сомнение и ничего не делал, чтобы удостовериться. Тут начиналась длинная история умываний, примочек, лекарств; камердинер приготавливал на столике возле постели целый арсенал разных вещей: склянок, ночников, коробочек. Старик обыкновенно читал с час времени Бурьенна, «Memorial de S-te Helene» и вообще разные «Записки», засим наступала ночь.

Так я оставил в 1834 наш дом, так застал его в 1840, и так все продолжалось до его кончины в 1846 году.

Лет тридцати, возвратившись из ссылки, я понял, что во многом мой отец был прав, что он, по несчастью, оскорбительно хорошо знал людей. Но моя ли была вина, что он и самую

⁷¹ постоянный двор, трактир (от нем. Herberge).

⁷² Здесь: с податей по карте (фр.).

истину проповедовал таким возмутительным образом для юного сердца. Его ум, охлажденный длиною жизнью в кругу людей испорченных, поставил его en garde⁷³ противу всех, а равнодушное сердце не требовало примирения; он так и остался в враждебном отношении со всеми на свете.

Я его застал в 1839, а еще больше в 1842, слабым и уже действительно больным. Сенатор умер, пустота около него была еще больше, даже и камердинер был другой, но он сам был тот же, одни физические силы изменили, тот же злой ум, та же память, он так же всех теснил мелочами, и неизменный Зонненберг имел свое прежнее кочевье в старом доме и делал комиссии.

Тогда только оценил я все безотрадное этой жизни; с сокрушенным сердцем смотрел я на грустный смысл этого одинокого, оставленного существования, потухавшего на сухом, жестком каменистом пустыре, который он сам создал возле себя, но который изменить было не в его воле; он знал это, видел приближающуюся смерть и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживал себя. Мне бывало ужасно жаль старика, но делать было нечего – он был неприступен.

...Тихо проходил я иногда мимо его кабинета, когда он, сидя в глубоких креслах, жестких и неловких, окруженный своими собачонками, один-одинехонек играл с моим трехлетним сыном. Казалось, сжавшиеся руки и окоченевшие нервы старика распускались при виде ребенка, и он отдыхал от непрерывной тревоги, борьбы и досады, в которой поддерживал себя, дотрагиваясь умирающей рукой до колыбели.

⁷³ настороже (фр.).

ГЛАВА VI

*О, годы вольных, светлых дум
И беспредельных упований!
Где смех без желчи, тира шум?
Где труд, столь полный ожиданий?*

«Юмор»

Кремлевская экспедиция. – Московский университет. – Химик. – Мы. – Маловская история. – Холера. – Филарет. – Сунгуровское дело. – В. Пассек. – Генерал Лесовский

Несмотря на зловещие пророчества хромого генерала, отец мой определил-таки меня на службу к князю Н. Б. Юсупову в Кремлевскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось; больше я о службе ничего не слышал, кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового архитектора, который всегда кричал таким голосом, как будто он стоял на стропилах пятого этажа и оттуда что-нибудь приказывал работникам в подвале, известить, что я получил первый офицерский чин. Все эти чудеса, заметим мимоходом, были не нужны: чины, полученные службой, я разом наверстал, выдержавши экзамен на кандидата, – из каких-нибудь двух-трех годов старшинства не стоило хлопотать. А между тем эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь к канцелярии Кремлевской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен.

Для служащих были особые курсы после обеда, чрезвычайно ограниченные и дававшие право на так называемые «комитетские экзамены». Все лентяи с деньгами, баричи, ничему не учившиеся, все, что не хотело служить в военной службе и торопилось получить чин ассессора, держало комитетские экзамены; это было нечто вроде золотых приисков, уступленных старым профессорам, дававшим *privatissime*⁷⁴ по двадцати рублей за урок.

Начать мою жизнь этими каудинскими фурукулами науки далеко не согласовалось с моими мыслями. Я сказал решительно моему отцу, что, если он не найдет другого средства, я подам в отставку.

Отец мой сердился, говорил, что я своими капризами мешаю ему устроить мою карьеру, бранил учителей, которые натолковали мне этот вздор, но, видя, что все это очень мало меня трогает, решил ехать к Юсупову.

Юсупов рассудил дело вмиг, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и доложил со страхом пополам, что отпуск более нежели на четыре месяца нельзя давать без высочайшего разрешения.

– Какой вздор, братец, – сказал ему князь, – что тут затрудняться; ну, в отпуск нельзя, пиши, что я командую его для усовершенствования в науках – слушать университетский курс.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории.

⁷⁴ самым частным образом (лат.).

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены – историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге после Павла мрачно замкнулась 14 декабря. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с Полежаевской истории. Он прислал А. Писарева, генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем, велел студентам одеть в мундирные сертуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу; отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских за бюст, отправил нас в ссылку за сен-симонизм, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем и не занимался больше «этим рассадником разврата», благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него.

Голицын был удивительный человек, он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий по очереди должен был его заменять, так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру – толковать бессеменное зачатие.

Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него как в общий резервуар вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее.

До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, ни уволенным своей общиной. Николай все это исказил; он ограничил прием студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избавлять от нее только бедных дворян. Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо, – вместе с законом о пассах, о религиозной нетерпимости и проч.⁷⁵

⁷⁵ Кстати, вот еще одна из отеческих мер «незабвенного» Николая. Воспитательные дома и приказы общественного призрения составляют один из лучших памятников екатерининского времени. Самая мысль учреждения больниц, богаделен и воспитательных домов на доли процентов, которые ссудные банки получают от оборотов капиталами, замечательно умна. Учреждения эти принялись, ломбарды и приказы богатели, воспитательные дома и богоугодные заведения цвели настолько, насколько допускало их всеобщее воровство чиновников. Дети, приносимые в воспитательный дом, частью оставались там, частью раздавались крестьянкам в деревне; последние оставались крестьянами, первые воспитывались в самом заведении. Из них сортировали наиболее способных для продолжения гимназического курса, отдавая менее способных в учение ремеслам или в технологический институт. То же с девочками: одни приготавливались к рукодельям, другие – к должности нянюшек и, наконец, способнейшие – в классные дамы и в гувернантки. Все шло как нельзя лучше. Но Николай и этому учреждению нанес страшный удар. Говорят, что императрица, встретив раз в доме у одного из своих приближенных воспитательницу его детей, вступила с ней в разговор и, будучи очень довольна ею, спросила, где она воспитывалась; та сказала ей, что она из «пансионера воспитательного дома». Всякий подумает, что императрица поблагодарила за это начальство. Нет, это ей подало повод подумать о неприличии давать такое воспитание подкинутым детям. Через несколько месяцев Николай произвел высшие классы воспитательных домов в обер-офицерский институт, то есть не велел более помещать питомцев в эти классы, а заменил их обер-офицерскими детьми. Он даже подумал о мере более радикальной – он не велел в губернских заведениях, в приказах, принимать новорожденных детей. Лучшая комментария на эту умную меру – в отчете министра юстиции в графе «Детубийство». (Прим. А. И. Герцена.)

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества, общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами.

Внешние различия, и то не глубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев. Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западно-мещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы – досадовали на их христианское смирение.⁷⁶

Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя, которого мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, он вряд мог ли развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, то есть ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету; настоящий философ, он никогда не полюбопытствовал заглянуть в «университетские части» математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал, и читал ее постоянно, лет десять, это Франкёров курс; но, воздержный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы.

Я избрал физико-математический факультет потому, что в нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встреча навела меня на эти занятия.

После знаменитого раздела имения в 1822 году, о котором я рассказывал, «старший братец» переехал на житье в Петербург. Долго об нем ничего не было слышно, как вдруг разнесся слух, что он женился. Ему было за шестьдесят лет тогда, и все знали, что, сверх совершеннолетнего сына, у него были другие дети. Он именно женился на матери старшего сына; «молодой» тоже было за пятьдесят. Этим браком он «привенчал», как говорили встарь, своего сына. Отчего же не всех детей? Мудрено было бы сказать отчего, если б главная цель, с которой он все это делал, была неизвестна; он хотел одного – лишить своих братьев наследства, и этого он достигал вполне «привенчиванием» сына. В известное наводнение 1824 года старика залило водой в карете, он простудился, слег и в начале 1825 года умер.

О сыне носились странные слухи: говорили, что он был нелюдим, ни с кем не znalся, вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, читал даже за обедом и ненавидел женское общество. Об нем сказано в «Горе от ума»:

– Он химик, он ботаник,
Князь Федор, наш племянник,
От женщин бегаёт и даже от меня.

⁷⁶ В этом отношении сделан огромный успех; все, что я слышал в последнее время о духовных академиях и даже семинариях, подтверждает это. Само собою разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся. (Прим. А. И. Герцена.)

Дяди, перенесшие на него зуб, который имели против отца, не называли его иначе как «Химик», придавая этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека.

Отец перед смертью страшно теснил сына, он не только оскорблял его зрелищем седого отцовского разврата, разврата цинического, но просто ревновал его к своей серали. Химик раз хотел отделаться от этой неблагоприятной жизни лауданумом; его спас случайно товарищ, с которым он занимался химией. Отец перепугался и перед смертью стал смиреннее с сыном.

После смерти отца Химик дал отпускную несчастным одалискам, уменьшил наполовину тяжелый оброк, положенный отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые продавал им старик, отдавая дворовых в солдаты.

Года через полтора он приехал в Москву, мне хотелось его видеть, я его любил за крестьян и за несправедливое недоброежелательство к нему его дядей.

Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках, с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реакциями. Отец мой встретил его холодно, колко; племянник отвечал той же монетой и не хуже чеканенной; померявшись, они стали говорить о посторонних предметах с наружным равнодушием и расстались учтиво, но с затаенной злобой друг против друга. Отец мой увидел, что боец ему не уступит.

Они никогда не сближались потом. Химик ездил очень редко к дядям; в последний раз он виделся с моим отцом после смерти Сенатора, он приезжал просить у него тысяч тридцать рублей взаймы на покупку земли. Отец мой не дал; Химик рассердился и, потирая рукою нос, с улыбкой ему заметил: «Какой же тут риск, у меня именье родовое, я беру деньги для его усовершенствования, детей у меня нет, и мы друг после друга наследники». Старик семидесяти пяти лет никогда не прощал племяннику эту выходку.

Я стал время от времени навещать его. Жил он чрезвычайно своеобразно; в большом доме своем на Тверском бульваре занимал он одну крошечную комнату для себя и одну для лаборатории. Старуха мать его жила через коридор в другой комнатке, остальное было запущено и оставалось в том самом виде, в каком было при отъезде его отца в Петербург. Почерневшие канделябры, необыкновенная мебель, всякие редкости, стенные часы, будто бы купленные Петром I в Амстердаме, креслы, будто бы из дома Станислава Лещинского, рамы без картин, картины, обороченные к стене, – все это, поставленное кой-как, наполняло три большие залы, нетопленные и неосвещенные. В передней люди играли обыкновенно на торбане и курили (в той самой, в которой прежде едва смели дышать и молиться). Человек зажигал свечку и провожал этой оружейной палатой, замечая всякий раз, что плаща снимать не надобно, что в залах очень холодно; густые слои пыли покрывали рогатые и курьезные вещи, отражавшиеся и двигавшиеся вместе со свечой в вычурных зеркалах; солома, остававшаяся от укладки, спокойно лежала там-сям вместе с стриженной бумагой и бечевками.

Рядом этих комнат достигалась наконец дверь, завешенная ковром, которая вела в страшно натопленный кабинет. В нем Химик в замаранном халате на беличьем меху сидел безвыходно, обложенный книгами, обставленный склянками, ретортами, тигелями, снарядами. В этом кабинете, где теперь царил микроскоп Шевалье, пахло хлором и где совершались за несколько лет страшные, вопиющие дела, – в этом кабинете я родился. Отец мой, возвратившись из чужих краев, до ссоры с братом, останавливался на несколько месяцев в его доме, и в этом же доме родилась моя жена в 1817 году. Химик года через два продал свой дом, и мне опять случалось бывать в нем на вечерах у Свербеева, спорить там о панславизме и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъезд, сени, лестница, передняя – все осталось, также и маленький кабинет остался.

Хозяйство Химики было еще менее сложно, особенно когда мать его уезжала на лето в подмосковную, а с нею и повар. Камердинер его являлся часа в четыре с кофейником, рас-

пускал в нем немного крепкого бульону и, пользуясь химическим горном, ставил его к огню вместе с всякими ядами. Потом он приносил из трактира полрябчика и хлеб – в этом состоял весь обед. По окончании его камердинер мыл кофейник, и он входил в свои естественные права. Вечером снова являлся камердинер, снимал с дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наследству от отца, и грудку книг, стлал простыню, приносил подушки и одеяло, и кабинет так же легко превращался в спальню, как в кухню и столовую.

С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьезно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой и «опасные без всякой пользы» – политикой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотках и де Кандолеву растительную органографию. Видя, что чтение идет на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже свое руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учен, остер и даже любезен; но для этого не надобно было ходить дальше обезьян; от камней до орангутанга его все интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовней. Он не был ни консерватор, ни отсталый человек, он просто не верил в людей, то есть верил, что эгоизм – исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других.

Меня возмущал его материализм. Поверхностный и со страхом пополам вольтерианизм наших отцов нисколько не был похож на материализм Химика. Его взгляд был спокойный, последовательный, оконченный; он напоминал известный ответ Лаланда Наполеону. «Кант принимает гипотезу бога», – сказал ему Бонапарт. «Sire,⁷⁷ – возразил астроном, – мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе».

Атеизм Химика шел далее теологических сфер. Он считал Жофруа Сент-Илера мистиком, а Окена просто поврежденным. Он с тем пренебрежением, с которым мой отец сложил «Историю» Карамзина, закрыл сочинения натурфилософов. «Сами выдумали первые причины, духовные силы, да и удивляются потом, что их ни найти, ни понять нельзя». Это был мой отец в другом издании, в ином веке и иначе воспитанный.

Взгляд его становился еще безотраднее во всех жизненных вопросах. Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что все – дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой *большие ждут*, нежели она в состоянии дать. Семейную жизнь он не любил, говорил с ужасом о браке и наивно признавался, что он пережил тридцать лет, не любя ни одной женщины. Впрочем, одна теплая струйка в этом охлажденном человеке еще оставалась, она была видна в его отношениях к старушке матери; они много страдали вместе от отца, бедствия сильно сплывали их; он трогательно окружал одинокую и болезненную старость ее, насколько умел, покоем и вниманием.

Теорией своих, кроме химических, он никогда не проповедовал, они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские выражения; его ответы были коротки, он их делал улыбаясь и с той деликатностью, с которой большой, старый мастиф играет с шпичем, позволяя ему себя теребить и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался *a la charge*,⁷⁸ не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, то есть лет через двенадцать, я много раз поминал Химика так, как поминал замечания моего отца; разумеется, он был прав в трех четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины, – мы уже говорили об этом, – которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста.

⁷⁷ Государь (фр.).

⁷⁸ к нападению (фр.).

Влияние Химика заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, еще лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления.

Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью – где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению.

Перед окончанием моего курса Химик уехал в Петербург, и я не видался с ним до возвращения из Вятки. Несколько месяцев после моей женитьбы я ездил полутайком на несколько дней в подмосковную, где тогда жил мой отец. Цель этой поездки состояла в окончательном примирении с ним, он все еще сердился на меня за мой брак.

По дороге я остановился в Перхушкове, там, где мы столько раз останавливались; Химик меня ожидал и даже приготовил обед и две бутылки шампанского. Он через четыре или пять лет был неизменно тот же, только немного постарел. Перед обедом он спросил меня совершенно серьезно:

– Скажите, пожалуйста, откровенно, ну как вы находите семейную жизнь, брак? Что, хорошо, что ли, или не очень?

Я смеялся.

– Какая смелость с вашей стороны, – продолжал он, – я удивляюсь вам; в нормальном состоянии никогда человек не может решиться на такой страшный шаг. Мне предлагали две, три партии очень хорошие, но как я вздумаю, что у меня в комнате будет распоряжаться женщина, будет все приводить по-своему в порядок, пожалуй, будет мне запрещать курить мой табак (он курил нежинские корешки), поднимет шум, сумбур, тогда на меня находит такой страх, что я предпочитаю умереть в одиночестве.

– Остаться мне у вас ночевать или ехать в Покровское? – спросил я его после обеда.

– Недостатка в месте у меня нет, – ответил он, – но для вас, я думаю, лучше ехать, вы приедете часов в десять к вашему батюшке. Вы ведь знаете, что он еще сердит на вас; ну – вечером, перед сном у старых людей обыкновенно нервы ослаблены и вялы, он вас примет, вероятно, гораздо лучше нынче, чем завтра; утром вы его найдете совсем готовым для сражения.

– Ха, ха, ха, – как я узнаю моего учителя физиологии и материализма, – сказал я ему, смеясь от души, – ваше замечание так и напомнило мне те блаженные времена, когда я приходил к вам, вроде гетевского Вагнера, надоедать моим идеализмом и выслушивать не без негодования ваши охлаждающие сентенции.

– Вы с тех пор довольно жили, – ответил он, тоже смеясь, – чтоб знать, что все дела человеческие зависят просто от нервов и от химического состава.

После мы как-то разошлись с ним; вероятно, мы оба были неправы... Тем не менее в 1846 он написал мне письмо. Я начинал тогда входить в моду после первой части «Кто виноват?». Химик писал мне, что он с грустью видит, что я употребляю на пустые занятия мой талант. «Я с вами примирился за ваши „Письма об изучении природы“; в них я понял (насколько человеческому уму можно понимать) немецкую философию – зачем же, вместо продолжения серьезного труда, вы пишете сказки?» Я отвечал ему несколькими дружескими строками – тем наши сношения и кончились.

Если эти строки попадутся на глаза самому Химику, я попрошу его их прочесть, ложась спать в постель, когда нервы ослаблены, и уверен, что он простит мне тогда дружескую болтовню, тем более что я храню серьезную и добрую память о нем.

Итак, наконец затворничество родительского дома пало. Я был *au large*;⁷⁹ вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Ога-

⁷⁹ на просторе (фр.).

ревым – шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше оклиматился в две недели, чем в родительском доме с самого дня рождения.

А дом родительский меня преследовал даже в университете в виде лакея, которому отец мой велел меня провожать, особенно когда я ходил пешком. Целый семестр я отделялся от провожатого и насилу официально успел в этом. Я говорю: официально – потому что Петр Федорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах, чем в передней физико-математического факультета, в которой все удовольствия ограничивались беседою с двумя сторожами и взаимным потчеванием друг друга и самих себя табаком.

К чему посылали за мной провожатого? Неужели Петр, с молодых лет зашибавший по несколько дней сряду, мог меня остановить в чем-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого, но для своего спокойствия брал меры недействительные, но все же меры, вроде того, как люди, не веря, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До семи лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколько крута; до одиннадцати меня мыла в корыте Вера Артамоновна; стало, очень последовательно – за мной, студентом, посылали слугу и до двадцати одного года мне не позволялось возвращаться домой после половины одиннадцатого. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке; если б меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до двадцати пяти лет... до тридцати пяти.

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоящей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила – со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться – столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, – мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские ассесоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, – но и те молчали.⁸⁰

Один пустой мальчик, допрашиваемый своею матерью о маловской истории под угрозю прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать – аристократка и княгиня – бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

⁸⁰ Тогда не было инспекторов и субинспекторов, исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича. (Прим. А. И. Герцена.)

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

– Сколько у вас профессоров в отделении? – спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

– Без Малова девять, – отвечал студент.

Вот этот-то профессор, которого надобно было *вычесть* для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентаров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У всех студентов на лицах был написан один страх, ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

– Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, – заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, и буря поднялась – свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его, pereat!»⁸¹ Малов, бледный как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съжившись, стал пробираться к дверям; аудитория – за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17–18 лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. *Vae victis*⁸² с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него.

Итак, дело закипело; на другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал *a la lettre*,⁸³ что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлага шинели принес от «лехтура» записочку, мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему говорить.

– Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории, – отвечал я ему.

– А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей?

– Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию, вы, не желая потерять времени по-пустому, пошли слушать другую.

⁸¹ да сгинет! (лат.).

⁸² Горе побежденным (лат.).

⁸³ буквально (фр.).

- Он не поверит.
- Это уж его дело.

Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона: пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо.

– Слушайте, – сказал я, – вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня; говорите то же самое с вариациями; вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно: за то, что вы шумели, и за то, что лжете, – много-много вас посадят в карцер; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование.

Барон обещал и честно сдержал слово.

Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, *допожарных*, то есть до 1812 года. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках à l'instar⁸⁴ конногерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой – из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы – из поповских детей.

Двигубский был из не-немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «*Materia Medica*»,⁸⁵ неизвестно зачем проживавшим в математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию, – с Рейсом, который, читая по-французски, называл светильню – *baton de coton*,⁸⁶ яд – рыбой (*poisson*⁸⁷), а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бранится, – мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредьяковскому и Кострову, – времени, в котором читали Хераскова и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки: одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну Баваркой,⁸⁸ а другую Пруденкой.⁸⁹

Но Двигубский был вовсе не добрый профессор, он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив, барон подогревал то же самое. Раздраженный

⁸⁴ вроде (фр.).

⁸⁵ Медицинское вещество (лат.).

⁸⁶ хлопчатобумажной палкой вместо: «*cordon de coton*» – хлопчатобумажным фитилем (фр.).

⁸⁷ Яд – *poison*; рыба – *poisson* (фр.).

⁸⁸ Болтушкой (от фр. *bavard*).

⁸⁹ Трусихой (от фр. *prudent*).

Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына.

Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтер-офицером и с приказом в руке – меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать, на дворе тоже толпилась молодежь; видно, меня не первого вели, когда мы проходили, все махали фуражками, руками; университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли.

В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова, князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек, наказанных по маловскому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде, ректор прислал какой-то суп, мы отказались и хорошо сделали: как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днем.

Раз как-то товарищ попечителя Панин, брат министра юстиции, верный своим конногвардейским привычкам, вздумал обойти ночью рундом государственную тюрьму в университетском подвале. Только что мы зажгли свечу под стулом, чтобы снаружи не было видно, и принялись за наш ночной завтрак, раздался стук в наружную дверь; не тот стук, который своей слабостью просит солдата отпереть, который больше боится, что его услышат, нежели то, что не услышат; нет, это был стук с авторитетом, приказывающий. Солдат обмер, мы спрятали бутылки и студентов в небольшой чулан, задули свечу и бросились на наши койки. Взшел Панин.

– Вы, *кажется*, курите? – сказал он, едва вырезываясь с инспектором, который нес фонарь, из-за густых облаков дыма. – Откуда это они берут огонь, ты даешь?

Солдат клялся, что не дает. Мы отвечали, что у нас был с собою трут. Инспектор обещал его отнять и обобрать сигары, и Панин удалился, не заметив, что количество фуражек было вдвое больше количества голов.

В субботу вечером явился инспектор и объявил, что я и еще один из нас может идти домой, но что остальные посидят до понедельника. Это предложение показалось мне обидным, и я спросил инспектора, могу ли остаться; он отступил на шаг, посмотрел на меня с тем грозно грациозным видом, с которым в балетах цари и героини пляшут гнев, и, сказавши: «Сидите, пожалуйста», вышел вон. За последнюю выходку досталось мне дома больше, нежели за всю историю.

Итак, первые ночи, которые я не спал в родительском доме, были проведены в карцере. Вскоре мне приходилось испытать другую тюрьму, и там я просидел не восемь дней, а девять месяцев, после которых поехал не домой, а в ссылку. Но до этого далеко.

С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента; после маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, хороший студент во всех отношениях.

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его дело – поставить человека à tête⁹⁰ продолжать на своих ногах; его дело – возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими

⁹⁰ дать ему возможность (фр.).

лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

А какие оригиналы были в их числе и какие чудеса – от Федора Ивановича Чумакова, подгонявшего формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и x за известное, до Гавриила Мягкова, читавшего самую жесткую науку в мире – тактику. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобрела строевую выправку: застегнутый до горла, в несгибающемся галстуке, он больше командовал свои лекции, чем говорил.

– Господа! – кричал он, – на поле! – Об *артиллерии!*

Это не значило: на поле сражения едут пушки, а просто, что на марже⁹¹ такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет, если б он увидел Мягкова, он его сделал бы попечителем.

А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, то есть водорода! Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось, – он отправил вместо себя племянника...

К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося четыре года (потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр), – принадлежит сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова.

Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете, членами которого были разные сенаторы, губернаторы, – вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси.

Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, – с подбострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застрашены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть – желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства; бугор de l'approbativité⁹² сильно развит в нашем черепе.

«Князь Дмитрий Голицын, – сказал как-то лорд Дюрам, – настоящий виг, виг в душе».

Князь Д. В. Голицын был почтенный русский барин, но почему он был «виг», с чего он был «виг» – не понимаю. Будьте уверены: князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом.

Прием Гумбольдта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и градоначальники, сенат – все явилось: лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с трехугольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От сеней до зала общества естествоиспытателей везде были приготовлены засады: тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий свое поприще

⁹¹ полях книги (от фр. *marge*).

⁹² желания понравиться (фр.).

и именно потому говорящий очень медленно, – каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридорами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтоб не простудиться на месяц. Гумбольдт все слушал без шляпы и на все отвечал – я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский прием.

Когда он дошел до залы и уселся, тогда надобно было встать. Попечитель Писарев счел нужным в кратких, но сильных словах отдать приказ, по-русски, о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника; после чего Сергей Глинка, «офицер», голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густосиплым, прочел свое стихотворение, начинавшееся так:

Humboldt Prométhée de nos jours!⁹³

А Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими – вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра I...; насилу Эренберг и Розе нашли случай кой-что рассказать о своих открытиях.⁹⁴

У нас и в неофициальном мире дела идут не много лучше: десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе. Глупостей довольно делали для него и в Германии, но тут совсем не тот характер; в Германии это все стародавеческая экзальтация, сентиментальность, все *Blumenstreuen*;⁹⁵ у нас – подчинение, признание власти, вытяжка, у нас все «честь имею явиться к вашему превосходительству». Тут же, по несчастью, прибавилась слава Листа как известного ловеласа; дамы толпились около него так, как крестьянские мальчишки на проселочных дорогах толпятся около проезжего, пока закладывают лошадей, любезно рассматривая его самого, его коляску, шапку... Все слушало одного Листа, все говорило только с ним одним, отвечало только ему. Я помню, что на одном вечере Хомяков, краснея за почтенную публику, сказал мне:

– Поспоримте, пожалуйста, о чем-нибудь, чтоб Лист видел, что есть здесь в комнате люди, не исключительно занятые им.

В утешение нашим дамам я могу только одно сказать, что англичанки точно так же метались, толпились, тормошились, не давали проходу другим знаменитостям: Кошуту, потом Гарибальди и прочим; но горе тем, кто хочет учиться хорошим манерам у англичанок и их мужей!

Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров, Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюры по-французски, потом переписывался с Гете по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда в пору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то, что песнопеть о само-

⁹³ Гумбольдт – Прометей наших дней! (фр.)

⁹⁴ Как розно было понято в России путешествие Гумбольдта, можно судить из повествования уральского казака, служившего при канцелярии пермского губернатора; он любил рассказывать, как он провожал «сумашедшего прусского принца Гумплота». «Что же он делал?» – «Так, самое, то есть, пустое: травы наберет, песок смотрит, как-то в солончаках говорит мне через толмача: полезай в воду, достань, что на дне; ну, я достал, обыкновенно, что на дне бывает, а он спрашивает: что, внизу очень холодна вода? Думаю – нет, брат, меня не проведешь, сделал фрунт и ответил: того, мол, ваша светлость, служба требует – все равно, мы рады стараться». (Прим. А. И. Герцена.)

⁹⁵ осыпание цветами (нем.).

фракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гете, в котором Гете ему сделал прекуръезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слогe: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть, – вы забыли немецкую грамматику».

Вот этот-то действительный тайный Пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочел по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.

Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были приготавливаться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев – все были налицо.

Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии – и он уже умер!

Где наш старец Ланжерон!
Где наш старец Бенигсон!
И тебя уже не стало,
И тебя как не бывало!

Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина, с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. Снимая в коридоре свою гороховую шинель, украшенную воротниками разного роста, как носили во время первого консулата, – он, еще не входя в аудиторию, начинал ровным и бесстрастным (что очень хорошо шло к каменному предмету его) голосом: «Мы заключили прошедшую лекцию, сказав все, что следует, о кремнеземии», потом он садился и продолжал: «о глиноземии...» У него были созданы неизменные рубрики для формулярных списков каждого минерала, от которых он никогда не отступал; случалось, что характеристика иных определялась отрицательно: «Кристаллизация – не кристаллизуется, употребление – никуда не употребляется, польза – вред, приносимый организму...»

Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок, и всякий раз, когда показывал поддельные камни и рассказывал, как их делают, он прибавлял: «Господа, это обман». В сельском хозяйстве он находил *моральными* качествами хорошего петуха, если он «охотник петь и до кур», и отличительным свойством аристократического барана – «плешивые коленки». Он умел тоже трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял: «Господа, это – прозопопея».⁹⁶

Когда декан вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее и студента «с хорошо повешенным языком». Щепкин указал на меня.

Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озирис, и боялся... Я шепнул ему:

– Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам.

– Не хвались, идучи на рать... – отпечатал, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессор.

Я чуть не захохотал, но, когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах, я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, аудитория была полна студентами – они надеялись на меня; под кафедрой за столом – «сильные мира сего» и все профессора нашего отделения. Я взял вопрос и прочел не своим голосом: «О кристаллизации, ее условиях, законах, формах».

⁹⁶ олицетворение (от фр. *prosopopée*).

Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову; если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фаворе. Итак, во имя Гайю, Вернера и Митчерлиха я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили, Уваров водил представлять князю Голицыну – он сказал что-то одними гласными, так, что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал.

Второй раз и третий я совсем иначе выходил на сцену. В 1836 году я представлял «Угара», а жена жандармского полковника – «Марфу» при всем вятском бомонде и при Тюфяеве. С месяц времени мы делали репетицию, а все-таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдруг заменила увертюру и занавесь стала, как-то страшно пошевеливаясь, подниматься; мы с Марфой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жаль, или до того она боялась, что я испорчу дело, что она мне подала огромный стакан шампанского, но и с ним я был едва жив.

С легкой руки министра народного просвещения и жандармского полковника я уже без нервных явлений и самолюбивой застенчивости явился на польском митинге в Лондоне, это был мой третий публичный дебют. Отставной министр Уваров был заменен отставным министром Ледрю-Ролленом.

Но не довольно ли студентских воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это останавливаться на них так долго; прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года.

Холера – это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патристический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая, – раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «Холера в Москве!» – разнеслась по городу.

Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены; возле него лежал сторож, занемогший в ночь.

Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казеннокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель.

Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях.

Москва приняла совсем иной вид. Публичность, не известная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюльteni о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью – что тот-то занемог, что такой-то умер...

Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов; самые священники, привыкшие обращаться с богом запанибрата, были серьезны и тронуты. Доля их шла в Кремль; там на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился – да мимо идет чаша сия. На том же месте он молился об убиении декабристов шесть лет тому назад.

Филарет представлял какого-то оппозиционного иерарха, во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности. Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковнославянский; все это вместе не давало ему никаких прав на оппозицию. Народ его не любил и называл масоном, потому что он был в близости с князем А. Н. Голицыным и проповедовал в Петербурге в самый разгар библейского общества. Синод запретил учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма; может, именно по соперничеству они ненавидели друг друга с Николаем.

Филарет умел хитро и ловко унижать временную власть; в его проповедях просвечивал тот христианский неопределенный социализм, которым блистали Лакордер и другие дальновидные католики. Филарет с высоты своего первосвященнического амвона говорил о том, что человек никогда не может быть законно орудием другого, что между людьми может только быть обмен услуг, и это говорил он в государстве, где полнаселения – рабы.

Он говорил колодникам в пересыльном остроге на Воробьевых горах: «Гражданский закон вас осудил и гонит, а церковь гонится за вами, хочет сказать еще слово, еще помолиться об вас и благословить на путь». Потом, утешая их, он прибавлял, что «они, наказанные, покончили с своим прошедшим, что им предстоит новая жизнь, в то время как между другими (вероятно, других, *кроме* чиновников, не было налицо) есть ещё большие преступники», и он ставил в пример разбойника, распятого вместе с Христом.

Проповедь Филарета на молебствии по случаю холеры превзошла все остальные; он взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод или чуму; Давид избрал чуму. Государь приехал в Москву взбешенный, послал министра двора князя Волконского намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитом в Грузию. Митрополит смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквам, в котором пояснял, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложение в тексте первой проповеди к благочестивейшему императору, что Давид – это мы сами, погрязнувшие в грехах. Разумеется, тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу.

Так играл в оппозицию московский митрополит.

Молебствие так же мало помогло от заразы, как хлористая известь; болезнь увеличивалась.

Я был все время жесточайшей холеры 1849 в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли, как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели назаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты⁹⁷ были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дня по два во внутренних комнатах.

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-

⁹⁷ сборы пожертвований (от фр. *collecte*).

домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей – богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц, – одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse⁹⁸ привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, – и все это без всякого вознаграждения и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента-малороссиянина, кажется Фицхелаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко; он наконец получил его – в самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен – и он первый от души хохотал над своей поездкой.

Москва, по-видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем – просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплывалась с нею огнем 1812.

Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обгавленную кровью своего мужа, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения, – и она тихо удалилась из Москвы, хмурая брови и надувая губы.

Хмурая брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя, —

как говорит Пушкин, – а зажгла самое себя. Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!

В 1830, в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклиффовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай!» – как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтоб мы остановились, и фореитор Сенатора, в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была *Июльская революция!* Два листа «*Journal des Debats*», которые он привез с письмом, я перечитал сто раз, я их знал наизусть – и первый раз скучал в деревне.

Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался, какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы – все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы всё принимали за чистые деньги.

⁹⁸ в полном составе (фр.).

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что «великий языческий Пан умер». Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы – восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется радикальных, и хранили у себя их портреты, от Манюеля и Бенжамен Констана до Дюпон де Лёра и Армана Кареля.

Середь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании. Это уже недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое:

Nein! Es sind keine leere Träume!⁹⁹

Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неудачам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки.

В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился¹⁰⁰ в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение.

С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы.

Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться. В 1832 году *пропал* поляк-студент нашего отделения. Присланный на казенный счет, не по своей воле, он был помещен в наш курс, мы познакомились с ним, он вел себя скромно и печально, никогда мы не слышали от него ни одного резкого слова, но никогда не слышали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях, на другой день – тоже нет. Мы стали спрашивать, казеннокоштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и

⁹⁹ Нет! Это не пустые мечты! (нем.)

¹⁰⁰ Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих «Записках»: «Государь сказал однажды А. П. Ермолову: „Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была на сносе, в Новгороде вспыхнул бунт, при мне оставались лишь два эскадрона кавалергардов; известия из армии доходили до меня лишь через Кенигсберг. Я нашелся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталя солдатами“». «Записки» партизана не оставляют никакого сомнения, что Николай, как Аракчеев, как все бездушно жестокосердые и мстительные люди, был трус. Вот что рассказывал Давыдову генерал Чеченский: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время весьма бледным, душа была в пятках». А вот что рассказывает сам Давыдов: «Во время бунта на Сенной государь прибыл в столицу лишь на второй день, когда уже все успокоилось. Государь был в Петергофе и как-то сам случайно проговорился: „Мы с Волконским стояли во весь день на кургане в саду и прислушивались, не раздаются ли со стороны Петербурга пушечные выстрелы“. Вместо озабоченного прислушивания в саду и непрерывных отправок курьеров в Петербург, – добавляет Давыдов, – он должен был лично поспешить туда; так поступил бы всякий мало-мальски мужественный человек. На следующий день (когда все было усмирено) государь, въехав в коляске в толпу, наполнявшую площадь, закричал ей: „На колени!“ – и толпа поспешно исполнила его приказание. Государь, увидев несколько лиц, одетых в партикулярных платьях (в числе следовавших за экипажем), вообразил, что это были лица подозрительные, приказал взять этих несчастных на гауптвахты и, обратившись к народу, стал кричать: „Это все подлые полячишки, они вас подбили!“ Подобная неуместная выходка совершенно испортила, по моему мнению, результаты». Каков гусь был этот Николай? (Прим. А. И. Герцена.)

не велели об этом говорить. Тем и кончилось, *мы никогда не слышали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека.*¹⁰¹

Прошло несколько месяцев; вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов – называли *Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича* и других; мы их знали коротко, – все они были превосходные юноши. Кольрейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена *военносудная комиссия*, в переводе это значило, что их обрели на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет, но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение – а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга. Нас было пятеро сначала, тут мы встретились с Пассеком.

В Вадиме для нас было много нового. Мы все, с небольшими вариациями, имели сходное развитие, то есть ничего не знали, кроме Москвы и деревни, учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей, воспитывались дома или в университетском пансионе. Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях; его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш, провинциальный; он далеко не так пошел и мелок, он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизм несчастья развил в нем особое самолюбие; но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Он был отважен, даже неосторожен до излишества – человек, родившийся в Сибири и притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири.

Вадим, по наследству, ненавидел ото всей души самовластье и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился. Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемоний, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге.

– Хочешь познакомиться с Кетчером, о котором ты столько слышал? – говорит мне Вадим.

– Непременно хочу.

– Приходи завтра, в семь часов вечера, да не опоздай, – он будет у меня.

Я прихожу – Вадима нет дома. Высокий мужчина с выразительным лицом и добродушно грозным взглядом из-под очков дожидается его. Я беру книгу, – он берет книгу.

– Да вы, – говорит он, раскрывая ее, – вы – Герцен?

– Да, а вы – Кетчер?

Начинается разговор – живей, живей...

– Позвольте, – грубо перебивает меня Кетчер, – позвольте, сделайте одолжение, говорите мне ты.

– Будемте говорить *ты*.

И с этой минуты (которая могла быть в конце 1831 г.) мы были неразрывными друзьями; с этой минуты гнев и милость, смех и крик Кетчера раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни.

Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу Запорожскую сечь.

Собирались мы по-прежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское имение. Он жил один в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалеко от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно

¹⁰¹ А где Критские? Что они сделали, кто их судил? На что их осудили? (Прим. А. И. Герцена.)

встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма.

Но рядом с его светлой, веселой комнатой, обитой красными обоями с золотыми полосками, в которой не проходил дым сигар, запах жженки и других... я хотел сказать – яств и питий, но остановился, потому что из съестных припасов, кроме сыру, редко что было, – итак, рядом с ультрастуденческим приютом Огарева, где мы спорили целые ночи напролет, а иногда целые ночи кутили, делался у нас больше и больше любимым другой дом, в котором мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадим часто оставлял наши беседы и уходил домой, ему было скучно, когда он не видал долго сестер и матери. Нам, жившим всей душою в товариществе, было странно, как он мог предпочитать свою семью – нашей.

Он познакомил нас с нею. В этой семье все носило следы царского посещения; она вчера пришла из Сибири, она была разорена, замучена и вместе с тем полна того величия, которое кладет несчастье не на каждого страдальца, а на чело тех, которые умели вынести.

Их отец был схвачен при Павле вследствие какого-то политического доноса, брошен в Шлиссельбург и потом сослан в Сибирь на поселенье. Александр возвратил тысячи сосланных безумным отцом его, но Пассек был забыт. Он был племянник того Пассека, который участвовал в убийстве Петра III, потом был генерал-губернатором в польских провинциях и мог требовать долю наследства, уже перешедшую в другие руки, эти-то другие руки и задержали его в Сибири.

Содержась в Шлиссельбурге, Пассек женился на дочери одного из офицеров тамошнего гарнизона. Молодая девушка знала, что дело кончится дурно, но не остановилась, утраченная ссылкой. Сначала они в Сибири кой-как перебивались, продавая последние вещи, но страшная бедность шла неотразимо и тем скорее, чем семья росла числом. В нужде, в работе, лишённые теплой одежды, а иногда насущного хлеба, они умели выходить, вскормить целую семью львенков; отец передал им неукротимый и гордый дух свой, веру в себя, тайну великих несчастий, он воспитал их примером, мать – самоотвержением и горькими слезами. Сестры не уступали братьям в героической твердости. Да чего бояться слов, – это была семья героев. Что они все вынесли друг для друга, что они делали для семьи – невероятно, и всё с поднятой головой, нисколько не сломившись.

В Сибири у трех сестер была как-то одна пара башмаков; они ее берегли для прогулки, чтоб посторонние не видали крайности.

В начале 1826 года Пассеку было разрешено возвратиться в Россию. Дело было зимой; шутка ли подняться с такой семьей без шуб, без денег из Tobольской губернии, а с другой стороны, сердце рвалось – ссылка всего невыносимее после ее окончания. Поплелись наши страдальцы кой-как; кормилица-крестьянка, кормившая кого-то из детей во время болезни матери, принесла свои деньги, кой-как сколоченные ею, им на дорогу, прося только, чтобы и ее взяли; ямщики провезли их до русской границы за бесценок или даром; часть семьи шла, другая ехала, молодежь сменялась, так они перешли дальний зимний путь от Уральского хребта до Москвы. Москва была мечтою молодежи, их надеждой – там их ждал голод.

Правительство, прощая Пассеков, и не думало им возвратить какую-нибудь долю имения. Истощенный усилиями и лишениями, старик слег в постель; не знали, чем будут обедать завтра.

В это время Николай праздновал свою коронацию, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу, везде огни, щиты, наряды... Две старших сестры, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращение имения. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут «венчанного и превознесенного» царя. Когда Николай сходит со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он про-

шел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжую.

Николаю тогда было около тридцати лет, и он уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежат натурам рядовым, мелким, кассирам, экзекуторам. Я часто замечал эту непоколебимую твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральные мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормозат и которым ежеминутно мешают; они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушают его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть и какая необходимость не опоздать минутой на развод?

Девушек продержали в части до вечера. Испуганные, оскорбленные, они слезами убедили частного пристава отпустить их домой, где отсутствие их должно было переполошить всю семью. По просьбе ничего не было сделано.

Не вынес больше отец, с него было довольно, он умер. Остались дети одни с матерью, кой-как перебиваясь с дня на день. Чем больше было нужд, тем больше работали сыновья; трое блестящим образом окончили курс в университете и вышли кандидатами. Старшие уехали в Петербург, оба отличные математики, они, сверх службы (один во флоте, другой в инженерах), давали уроки и, отказывая себе во всем, посылали в семью вырученные деньги.

Живо помню я старушку мать в ее темном капоте и белом чепце; худое бледное лицо ее было покрыто морщинами, она казалась с виду гораздо старше, чем была; одни глаза несколько отстали, в них было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлых слез. Она была влюблена в своих детей, она была ими богата, знатна, молода... она читала и перечитывала нам их письма, она с таким свято-глубоким чувством говорила о них своим слабым голосом, который иногда изменялся и дрожал от удержанных слез.

Когда они все бывали в сборе в Москве и садились за свой простой обед, старушка была вне себя от радости, ходила около стола, хлопотала и, вдруг останавливаясь, смотрела на свою молодежь с такою гордостью, с таким счастьем и потом поднимала на меня глаза, как будто спрашивая: «Не правда ли, как они хороши?» Как в эти минуты мне хотелось броситься ей на шею, поцеловать ее руку. И к тому же они действительно все были даже наружно очень красивы.

Она была счастлива тогда... Зачем она не умерла за одним из этих обедов?

В два года она лишилась трех старших сыновей. Один умер блестяще, окруженный признанием врагов, среди успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову. Это был молодой генерал, убитый черкесами под Дарго. Лавры не лечат сердца матери... Другим даже не удалось хорошо погибнуть; тяжелая русская жизнь давила их, давила – пока продавила грудь.

Бедная мать! И бедная Россия!

Вадим умер в феврале 1843 г.; я был при его кончине и тут в первый раз видел смерть близкого человека, и притом во всем не смягченном ужасе ее, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лет перед своей смертью Вадим женился на моей кузине, и я был шафером на свадьбе. Семейная жизнь и перемена быта развели нас несколько. Он был счастлив в своем *à parte*,¹⁰² но внешняя сторона жизни не давалась ему, его предприятия не шли. Незадолго до нашего ареста он поехал в Харьков, где ему была обещана кафедра в университете. Его поездка хотя и спасла его от тюрьмы, но имя его не ускользнуло от полицейских ушей. Вадиму отказали в месте. Товарищ попечителя признался ему, что они получили бумагу, в силу которой им не велено ему давать кафедры за известные правительству связи его с злоумышленными людьми.

Вадим остался без места, то есть без хлеба, – вот его Вятка.

¹⁰² Здесь: в семейной жизни (фр.).

Нас сослали. Сношения с нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него; в семилетней борьбе с добыванием скудных средств, в оскорбительных столкновениях с людьми грубыми и черствыми, вдали от друзей, без возможности перекликнуться с ними, здоровые мышцы его изнашивались.

– Раз, – сказывала мне его жена потом, – у нас вышли все деньги до последней копейки; накануне я старалась достать где-нибудь рублей десять, нигде не нашла; у кого можно было занять несколько, я уже заняла. В лавочках отказались давать припасы иначе, как на чистые деньги; мы думали об одном – что же завтра будут есть дети? Печально сидел Вадим у окна, потом встал, взял шляпу и сказал, что хочет пройтись. Я видела, что ему очень тяжело, мне было страшно, но все же я радовалась, что он несколько рассеется. Когда он ушел, я бросилась на постель и горько, горько плакала, потом стала думать, что делать – все сколько-нибудь ценные вещи – кольца, ложки – давно были заложены; я видела один выход: приходилось идти к нашим и просить их тяжелой, холодной помощи. Между тем Вадим бродил без определенной цели по улицам и так дошел до Петровского бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришло в голову спросить, не продал ли он хоть один экземпляр его книги; он был дней пять перед тем, но ничего не нашел; со страхом вошел он в его лавку. «Очень рад вас видеть, – сказал ему Ширяев, – от петербургского корреспондента письмо, он продал на триста рублей ваших книг, желаете получить?» И Ширяев отсчитал ему пятнадцать золотых. Вадим потерял голову от радости, бросился в первый трактир за съестными припасами, купил бутылку вина, фруктов и торжественно прискакал на извозчике домой. Я в это время разбавила водой остаток бульона для детей и думала уделить ему немного, уверивши его, что я уже ела, как вдруг он входит с кульком и бутылкой, веселый и радостный, как бывало.

И она рыдала и не могла выговорить ни слова...

После ссылки я его мельком встретил в Петербурге и нашел его очень изменившимся. Убеждения свои он сохранил, но он их сохранил, как воин не выпускает меча из руки, чувствуя, что сам ранен навывлет. Он был задумчив, изнурен и сухо смотрел вперед. Таким я его застал в Москве в 1842 году; обстоятельства его несколько поправились, труды его были оценены, но все это пришло поздно – это эполеты Полежаева, это прощение Кольрейфа, сделанное не русским царем, а русскою жизнью.

Вадим таял, туберкулезная чахотка открылась осенью 1842 года, – страшная болезнь, которую мне привелось еще раз видеть.

За месяц до его смерти я с ужасом стал примечать, что умственные способности его тухнут, слабеют, точно догорающие свечи, в комнате становилось темнее, смутнее. Он вскоре стал с трудом и усилием приискивать слово для нескладной речи, останавливался на внешних созвучиях, потом он почти и не говорил, а только заботливо спрашивал свои лекарства и не пора ли принять.

Одной февральской ночью, часа в три, жена Вадима прислала за мной; больному было тяжело, он спрашивал меня, я подошел к нему и тихо взял его за руку, его жена назвала меня, он посмотрел долго, устало, не узнал и закрыл глаза. Привели детей, он посмотрел на них, но тоже, кажется, не узнал. Стон его становился тяжелее, он утихал минутами и вдруг продолжительно вздыхал с криком; тут в ближней церкви ударили в колокол; Вадим прислушался и сказал: «Это заутреня». Больше он не произнес ни одного слова... Жена рыдала на коленях у кровати возле покойника; добрый, милый молодой человек из университетских товарищей, ходивший последнее время за ним, суетился, отодвигал стол с лекарствами, поднимал сторы... я вышел вон, на дворе было морозно и светло, восходящее солнце ярко светило на снег, точно будто сделалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гроб.

Когда я возвратился, в маленьком доме царил мертвая тишина, покойник, по русскому обычаю, лежал на столе в зале, поодаль сидел живописец Рабус, его приятель, и карандашом, сквозь слезы снимал его портрет; возле покойника молча, сложа руки, с выражением беско-

нечной грусти, стояла высокая женская фигура; ни один артист не сумел бы изваять такую благородную и глубокую «Скорбь». Женщина эта была немолода, но следы строгой, величавой красоты остались; завернутая в длинную, черную бархатную мантилью на горностаевом меху, она стояла неподвижно. Я остановился в дверях.

Прошли две-три минуты – та же тишина, но вдруг она поклонилась, крепко поцеловала покойника в лоб и, сказав: «Прощай! прощай, друг Вадим!» – твердыми шагами пошла во внутренние комнаты. Рабус все рисовал, он кивнул мне головой, говорить нам не хотелось, я молча сел у окна.

Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланного за 14 декабря, Е. Чертова.

Симоновский архимандрит Мелхиседек сам предложил место в своем монастыре. Мелхиседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник, потом обратился к православию, пошел в монахи, сделался игумном и, наконец, архимандритом. При этом он остался плотником, то есть не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного, здорового лица. Он знал Вадима и уважал его за его исторические изыскания о Москве.

Когда тело покойника явилось перед монастырскими воротами, они отворились, и вышел Мелхиседек со всеми монахами встретить тихим, грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы. Недалеко от могилы Вадима покоится другой прах, дорогой нам, прах Веновитинова с надписью: «Как знал он жизнь, как мало жил!» Много знал и Вадим жизнь!

Судьбе и этого было мало. Зачем в самом деле так долго зажилась старушка мать? Видела конец ссылки, видела своих детей во всей красоте юности, во всем блеске таланта, чего было жить еще! Кто дорожит счастьем, тот должен искать ранней смерти. Хронического счастья так же нет, как нетающего льда.

Старший брат Вадима умер несколько месяцев спустя после того, как Диомид был убит, он простудился, запустил болезнь, подточенный организм не вынес. Вряд было ли ему сорок лет, а он был старший.

Эти три гроба, трех друзей, отбрасывают назад длинные черные тени; последние месяцы юности виднеются сквозь погребальный креп и дым кадил...

Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в намерении составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил – *Сунгурова*. Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей; его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.

«Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя!» Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны *благоразумием* русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровской, и до истории Петрашевского прошло спокойно *пятнадцать лет*, именно те пятнадцать, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломились два поколения: старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квёлых представителей мы теперь видим.

После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы – предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Дашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16–17 лет служили гроз-

ным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово – годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования.

Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.

Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

– А это что за бумаги?

– Имена подписавшихся, – сказал Киреевский, – и счет.

– Вы верите, что я деньги отдам? – спросил старик.

– Об этом нечего говорить.

– А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж нам беречь их имена. – С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.

Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония – свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое имение игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, Кетчера, Сатина, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

– Вы делали для них подписку, это еще хуже. На первый раз государь так милосерд, что он вас прощает, только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на Кетчере, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

– Вам-то, милостивый государь, *в вашем звании* как не стыдно?

Можно было думать, что Кетчер был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было.

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты а la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!*

Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его слабость с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе – и послужили.

Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратил через *десять лет* из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чухотку так, как за чухотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за *смерть*. Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.

Костенецкий отличился рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры, Антонович тоже.

Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволения выйти на воздух из душной избы, битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность, ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след. Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.

Несчастный офицер был разжалован в солдаты.

Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого поселщика: ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в *предупреждение* побегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства. К этому внешнему сраму сентенция прибавила *один* удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.

Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.

В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.

– Боже мой, – сказал лекарь, – знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сижу я на почтовой станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошел этапный офицер, приведший партию арестантов пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа, взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу, на соломе какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.

– Вот больной, – сказал офицер.

Лгать мне не пришлось: несчастный был в сильнейшей горячке; исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полубритый и с бородой, он был страшен, бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить.

– Что, брат, плохо? – сказал я больному и прибавил офицеру: – Идти ему невозможно.

Больной уставил на меня глаза и пробормотал: «Это вы?» Он назвал меня. «Вы меня не узнаете», – прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу.

– Извините меня, – сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку, – не могу припомнить.

– Я – Сунгуров! – отвечал он.

– Бедный Сунгуров! – повторил лекарь, качая головой.

– Что же, его оставили? – спросил я.

– Нет, однако дали телегу.

После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в *Нерчинске*. Именье его, состоявшее из двухсот пятидесяти душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском, Ниже-

городской губернии, в четыреста душ, *пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжение следствия*. Семью его разорили, впрочем, сперва позаботились и о том, чтоб ее уменьшить: *жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила в Пречистенской части; грудной ребенок там и умер*. Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!

ГЛАВА VII

Конец курса. – Шиллеровский период. – Молодая юность и артистическая жизнь. – Сен-симонизм и Н. Полевой

Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспяные ночи для бесполезных мнемонических пыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес, все это – как всегда. Я писал астрономическую диссертацию на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес серебра.

Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен, – я с ужасом думал, сколько я забыл, срежешься, да и только, – и я просыпался, радуясь от души, что море и паспорта, годы и визы отделяют меня от университета, никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу. А в самом деле, профессора удивились бы, что я в столько лет так много пошел назад. Раз это со мной уже и случилось.¹⁰³

После окончательного экзамена профессора заперлись для счета баллов, а мы, волнуемые надеждами и сомнениями, бродили маленькими кучками по коридору и по сеням. Иногда кто-нибудь выходил из совета, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было ничего решено; наконец вышел Гейман.

– Поздравляю вас, – сказал он мне, – вы – кандидат.

– Кто еще? Кто еще?

– Такой-то и такой-то.

Мне разом сделалось грустно и весело; выходя из-за университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провел так юно-хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия, и отчего же не признаться, и название кандидата, полученное сразу.¹⁰⁴

Alma mater! Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития... и я благословляю его из дальней чужбины!

Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула...

Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устрой-

¹⁰³ В 1844 году встретился я с Перевошиковым у Щепкина и сидел возле него за обедом. Под конец он не выдержал и сказал:– Жаль-с, очень жаль-с, что обстоятельства-с помешали-с заниматься делом-с – у вас прекрасные-с были-с способности-с.– Да ведь не всем же, – говорил я ему, – за вами на небо лезть. Мы здесь займемся, на земле, кой-чем.– Помилуйте-с, как же-с это-с можно-с, какое занятие-с, Гегелева-с философия-с; ваши статьи-с читал-с, понимать-с нельзя-с, птичий язык-с. Какое-с это дело-с. Нет-с! Я долго смеялся над этим приговором, то есть долго не понимал, что язык-то у нас тогда действительно был скверный, и если птичий, то, наверное, птицы, состоящей при Минерве. (Прим. А. И. Герцена.)

¹⁰⁴ В бумагах, присланных мне из Москвы, я нашел записку, которой я извещал кузину, бывшую тогда в деревне с княгиней, об окончании курса. «Экзамен кончился, и я кандидат! Вы не можете себе представить сладкое чувство воли после четырехлетних занятий. Вспомнили ли вы обо мне в четверг? День был душный, и пытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера» (26 июня 1833). Мне кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругления. Но при всем удовольствии самолюбие было задето тем, что золотая медаль досталась другому (Александру Драшусову). Во втором письме, от 6 июля, сказано: «Сегодня акт, но я не был, я не хотел быть вторым при получении медали». (Прим. А. И. Герцена.)

стве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних; но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи; все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же.

Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от истинных падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край; я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, отчего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто, открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троют пороки.

Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские пожилые люди лет в пятнадцать от роду – просто противны.

Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти С.-Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми; ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих тридцати пяти лет. С Наполеоном из юношей делаются ординарцы; с реставрацией, «с воскресением старости» – юность вовсе не совместна, – все становится совершеннолетним, деловым, то есть мещанским.

Последние юноши Франции были сен-симонисты и фаланга. Несколько исключений не могут изменить прозаически плоский характер французской молодежи. Деку и Лебра застрелились оттого, что они были юны в обществе стариков. Другие бились, как рыба, выкинутая из воды на грязном берегу, пока одни не попались на баррикаду, другие – на иезуитскую уду.

Но так как возраст берет свое, то большая часть французской молодежи отбывает юность артистическим периодом, то есть живет, если нет денег, в маленьких кафе с маленькими гризетками в *quartier Latin*,¹⁰⁵ и в больших кафе с большими лоретками, если есть деньги. Вместо шиллеровского периода это период поль-декоковский; в нем наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое – и человек готов в *commis*¹⁰⁶ торговых домов. Артистический период оставляет на дне души одну страсть – жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь, других интересов нет; практические люди эти смеются над общими вопросами, презирают женщин (следствие многочисленных побед над побежденными по ремеслу). Обыкновенно артистический период делается под руководством какого-нибудь истасканного грешника из увядших знаменитостей, *d'un vieux prostitué*,¹⁰⁷ живущего на чужой счет, какого-нибудь актера, потерявшего голос, живописца, у которого трясутся руки; ему подражают в произношении, в питье, а главное, в гордом взгляде на людские дела и в основательном знании блюд.

В Англии артистический период заменен пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, то есть безумных проделок, нелепых трат, тяжелых шалостей, увеселительного, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или Квито, на юг, на север – по дороге лошади, собаки, скачки, глупые обеды, а тут и жена с невероятным количеством румяных и дебелых *baby*,¹⁰⁸ обороты, «Times», парламент и придавливающий к земле ольдпорт.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Латинском квартале (фр.).

¹⁰⁶ приказчики (фр.).

¹⁰⁷ старого развратника (фр.).

¹⁰⁸ детей (англ.).

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела.

И в чем же состояли наши пиры и оргии? Вдруг приходит в голову, что через два дня – 6 декабря, Николин день. Обилие Николаев страшно: Николай Огарев, Николай Сатин, Николай Кетчер, Николай Сазонов...

– Господа, кто празднует именины?

– Я! Я!

– А я на другой день.

– Это все вздор, что такое на другой день? Общий праздник, складку! Зато каков будет и пир!

– Да, да, у кого же собираться?

– Сатин болен, ясно, что у него.

И вот делаются сметы, проекты, это занимает невероятно будущих гостей и хозяев. Один Николай едет к «Яру» заказывать ужин, другой – к Матерну за сыром и салами. Вино, разумеется, берется на Петровке у Депре, на книжке которого Огарев написал эпитафию:

De près ou de loin,
Mais je fournis toujours.¹¹⁰

Наш неопытный вкус еще далее шампанского не шел и был до того молод, что мы как-то изменили и шампанскому в пользу Rivesaltes mousseux.¹¹¹ В Париже я на карте у ресторана увидел это имя, вспомнил 1833 год и потребовал бутылку. Но, увы, даже воспоминания не помогли мне выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочного, потому что пробы явным образом нравятся.

При этом я не могу не рассказать, что случилось с Соколовским. Он был постоянно без денег и тотчас тратил все, что получал. За год до его ареста он приезжал в Москву и остановился у Сатина. Он как-то удачно продал, помнится, рукопись «Хевери» и потому решился дать праздник не только нам, но и pour les gros bonnets,¹¹² то есть позвал Полевого, Максимова и прочих. Накануне он с утра поехал с Полежаевым, который тогда был с своим полком в Москве, – делать покупки, накупил чашек и даже самовар, разных ненужных вещей и, наконец, вина и съестных припасов, то есть пастетов, фаршированных индеек и прочего. Вечером мы пришли к Сатину. Соколовский предложил откупорить одну бутылку, затем другую; нас было человек пять, к концу вечера, то есть к началу утра следующего дня, оказалось, что ни вина больше нет, ни денег у Соколовского. Он купил на все, что оставалось от уплаты маленьких долгов.

Огорчился было Соколовский, но скрепив сердце подумал, подумал и написал ко всем gros bonnets, что он страшно занемог и праздник откладывает.

Для пира *четырёх именин* я писал целую программу, которая удостоилась особенного внимания инквизитора Голицына, спрашивавшего меня в комиссии, точно ли программа была исполнена.

– A la lettre, – отвечал я ему.

¹⁰⁹ старый портвейн (от англ. old port).

¹¹⁰ Близо или далеко, но я доставляю всегда (фр.). Игра слов: De pres (близо) и Депре – фамилия.

¹¹¹ шипучего вина ривесальт (фр.).

¹¹² для важных особ, для «шишек» (фр.).

Он пожал плечами, как будто он всю жизнь провел в Смольном монастыре или в великой пятнице.

После ужина возникал обыкновенно *капитальный* вопрос, – вопрос, возбуждавший прения, а именно: «Как варить жженку?» Остальное обыкновенно елось и пилось, как вотируют по доверию в парламентах, без спору. Но тут каждый участвовал, и притом с высоты ужина.

– Зажигать – не зажигать еще? как зажигать? тушить шампанским или сотерном?¹¹³ класть фрукты и ананас, пока еще горит или после?

– Очевидно, пока горит, тогда-то весь аром перейдет в пунш.

– Помилуй, ананасы плавают, стороны их подожгутся, это просто беда.

– Все это вздор! – кричит Кетчер всех громче. – А вот что не вздор, свечи надобно потушить.

Свечи потушены, лица у всех посинели, и черты колеблются с движением огня. А между тем в небольшой комнате температура от горящего рома становится тропическая. Всем хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, француз, присланный от «Яра», готов; он приготовляет какой-то антitezис жженки, напиток со льдом из разных вин, *a la base de cognac*;¹¹⁴ неподдельный сын «великого народа», он, наливая французское вино, объясняет нам, что оно потому так хорошо, что два раза проехало экватор.

– *Oui, oui, messieurs; deux fois l'equateur, messieurs!*¹¹⁵ Когда замечательный своей полярной стужей напиток окончен и вообще пить больше не надобно, Кетчер кричит, мешая огненное озеро в суповой чашке, причем последние куски сахара тают с шипением и плачем.

– Пора тушить! Пора тушить!

Огонь краснеет от шампанского, бегаёт по поверхности пунша с какой-то тоской и дурным предчувствием. А тут отчаянный голос:

– Да помилуй, братец, ты с ума сходишь: разве не видишь, смола топится прямо в пунш.

– А ты сам поддержи бутылку в таком жару, чтоб смола не топилась.

– Ну, так ее прежде обить, – продолжает огорченный голос.

– Чашки, чашки, довольно ли у вас их? сколько нас... девять, десять... четырнадцать, – так, так.

– Где найти четырнадцать чашек?

– Ну, кому чашек не достало – в стакан.

– Стаканы лопнут.

– Никогда, никогда, стоит только ложечку положить. Свечи поданы, последний зайчик огня выбежал на середину, сделал пируэт, и нет его.

– Жженка удалась!

– Удалась, очень удалась! – говорят со всех сторон.

На другой день болит голова, тошно. Это, очевидно, от жженки, – смесь! И тут искреннее решение впредь жженки никогда не пить, это отравка.

Входит Петр Федорович.

– А вы-с сегодня пришли не в своей шляпе: наша шляпа будет получше.

– Черт с ней совсем!

– Не прикажете ли сбегать к Николай Михайловичу Кузьме?

– Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошел без шляпы?

– Не мешает-с на всякий случай.

Тут я догадываюсь, что дело совсем не в шляпе, а в том, что Кузьма звал на поле битвы Петра Федоровича.

¹¹³ сорт белого вина (от фр. sauternes).

¹¹⁴ на коньяке (фр.).

¹¹⁵ Да, да, господа, два раза экватор, господа! (фр.)

– Ты к Кузьме ступай, да только прежде попроси у повара мне кислой капусты.

– Знать, Лександ Иваныч, именинники-то не ударили лицом в грязь?

– Какой в грязь, эдакого пира во весь курс не было.

– В ниверситет-то уже, должно быть, сегодня отложим попечение?

Меня угрызает совесть, и я молчу.

– Папенька-то ваш меня спрашивал: «Как это, говорит, еще не вставал?» Я, знаете, не промах: голова изволит болеть, с утра-с жаловались, так я так и сторы не подымал-с. «Ну, говорит, и хорошо сделал».

– Да дай ты мне, Христа ради, уснуть. Хотел идти к Сатину, ну и ступай.

– Сию минутоу-с, только за капустой сбегаю-с.

Тяжелый сон снова смыкает глаза; часа через два просыпаешься гораздо свежее. Что-то они делают там? Кетчер и Огарев остались ночевать. Досадно, что жженка так на голову действует, надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жженку стаканом; я решительно отныне и до века буду пить небольшую чашку.

Между тем мой отец уже окончил чтение газет и прием повара.

– У тебя голова болит сегодня?

– Очень.

– Может, слишком много занимался? – И при этом вопросе видно, что прежде ответа он усомнился. – Я и забыл, ведь вчера ты, кажется, был у Николаши¹¹⁶ и у Огарева?

– Как же-с.

– Потчевали, что ли, они тебя... именины? Опять суп с мадерой? Ох, не охотник я до всего этого. Николаша-то любит, я знаю, не вовремя вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павел Иванович... ну, двадцать девятого июня именины, позовет всех родных, обед, как водится, – все скромно, прилично. А это, по-нынешнему, шампанского да сардинки в масле – противно смотреть. О несчастном сыне Платона Богдановича я и не говорю, – один, брошен! Москва... деньги есть – кучер Еремей, «пошел за вином»! А кучер рад, ему за это в лавке гривенник.

– Да, я у Николая Павловича завтракал. Впрочем, я не думаю, чтоб от этого болела голова. Я пройдусь немного, это мне всегда помогает.

– С богом, – обедаешь дома, я надеюсь?

– Без сомнения, я только так.

Для пояснения супа с мадерой необходимо сказать, что за год или больше до знаменитого пира четырех именинников мы на святой неделе отправлялись с Огаревым гулять, и, чтоб отделаться от обеда дома, я сказал, что меня пригласил обедать отец Огарева.

Отец мой не любил вообще моих знакомых, называл наизнанку их фамилии, ошибаясь постоянно одинаким образом, так Сатина он безошибочно называл Сакеным, а Сазонова – Сназиным. Огарева он еще меньше других любил и за то, что у него волосы были длинные, и за то, что он курил без его спроса. Но, с другой стороны, он его считал внучатным племянником и, следственно, родственной фамилии исказить не мог. К тому же Платон Богданович принадлежал, и по родству и по богатству к малому числу признанных моим отцом личностей, и мое близкое знакомство с его домом ему нравилось, Оно нравилось бы еще больше, если б у Платона Богдановича не было сына.

Итак, отказать ему не считалось приличным.

Вместо почтенной столовой Платона Богдановича мы отправились сначала под Новинское, в балаган Прейса (я потом встретил с восторгом эту семью акробатов в Женеве и Лондоне), там была небольшая девочка, которой мы восхищались и которую называли Миньонной.

¹¹⁶ Голохвастова (Прим. А. И. Герцена.)

Посмотрев Миньону и решившись еще раз прийти ее посмотреть вечером, мы отправились обедать к «Яру». У меня был золотой, и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали *ouka au champagne*,¹¹⁷ бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда, ужасно дорогого, совершенно голодные и отправились опять смотреть Миньону.

Отец мой, прощаясь со мной, сказал мне, что ему кажется, будто бы от меня пахнет вином.

– Это, верно, оттого, – сказал я, – что суп был с мадерой.

– *Au madère*, – это зять Платона Богдановича, верно, так завел; *cela sent les casernes de la garde*.¹¹⁸

С тех пор и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпил вина, что у меня лицо красно, он непременно говорил мне:

– Ты, верно, ел сегодня суп с мадерой? Итак, я скорым шагом к Сатину.

Разумеется, Огарев и Кетчер были на месте. Кетчер с помятым лицом был недоволен некоторыми распоряжениями и строго их критиковал. Огарев гомеопатически вышибал клин клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, присвистом и дробью играл на кухне у Сатина:

В роще Марьиной гулянье
В самой тот день семика.

...Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям.

Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в семнадцать лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить «страшный опыт своего изжитого сердца».

Драма эта начиналась так: «Сад – вдали дом – окна освещены – буря – никого нет – калитка не заперта, она хлопает и скрипит».

– Сверх калитки и сада есть действующие лица? – спросил я у Вадима.

И Вадим, несколько огорченный, сказал мне:

– Ты все дурачишься! Это не шутка, а быть моего сердца; если так, я и читать не стану, – и стал читать.

Были вовсе не платонические шалости, – даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было содержанок (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, разврат по контракту, миновал наш круг.

– Стало быть, вы допускаете худший, продажный разврат?

– Не я, а вы! То есть, не *вы* вы, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры.

Общие вопросы, гражданская экзальтация – спасали нас; и не только они, но сильно развитый научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна. У меня сохранилось несколько писем Огарева того времени; о тогдашнем грудтоне¹¹⁹ нашей жизни можно легко по ним судить. В 1833 году, июня 7, Огарев, например, мне пишет:

«Мы друг друга, кажется, знаем, кажется, можем быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итак, скажи – с некоторого времени я решительно так полон, можно

¹¹⁷ уху на шампанском (фр.).

¹¹⁸ С мадерой... это пахнет гвардейскими казармами (фр.).

¹¹⁹ основном тоне (от нем. Grundton).

сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне, кажется, мало того, кажется, – мне врезалась мысль, что мое призвание – быть поэтом, стихотворцем или музыкантом, *alles eins*,¹²⁰ но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим, я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду, и порядочно (извини за такое пошлое выражение), писать. Друг, скажи же, верить ли мне моему призванию? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься.

Июня 7, 1833».

«Ты пишешь: „*Да ты поэт, поэт истинный!*“ Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова? Итак, оно не ложно, все, что я чувствую, к чему стремлюсь, в чем моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бред горячки – это я чувствую. Ты меня знаешь более, чем кто-нибудь, не правда ли, я это действительно чувствую. Нет, эта высокая жизнь не бред горячки, не обман воображения, она слишком высока для обмана, она действительна, я живу ею, я не могу вообразить себя с иною жизнью. Для чего я не знаю музыки, какая симфония вылетела бы из моей души теперь. Вот слышишь величественные *adagio*,¹²¹ но нет сил выразиться, надобно больше сказать, нежели сказано *presto, presto*,¹²² мне надобно бурное, неукротимое *presto*. *Adagio* и *presto*, две крайности. Прочь с этой посредственностью, *andante*,¹²³ *allegro moderate*;¹²⁴ это заики или слабоумные не могут ни сильно говорить, ни сильно чувствовать.

Село Чертково, 18 августа 1833».

Мы отвыкли от этого восторженного лепета юности, он нам странен, но в этих строках молодого человека, которому еще не стукнуло двадцать лет, ясно видно, что он застрахован от пошлого порока и от пошлой добродетели, что он, может, не спасется от болота, но выйдет из него, не загрязнившись.

Это не неуверенность в себе, это сомнение веры, это страстное желание подтверждения, ненужного слова любви, которое так дорого нам. Да, это беспокойство зарождающегося творчества, это тревожное озиранье души *зачавшей*.

«Я не могу еще взять, – пишет он в том же письме, – те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, черт возьми! Я поэт, поэзия мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения».

Так оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде, нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас.

Время, следовавшее за умирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно; теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедовали Лафайеты и Бенжамен Констан, пел Беранже, – терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

¹²⁰ все одно (нем.).

¹²¹ очень медленно (ит.).

¹²² очень быстро (ит.).

¹²³ не спеша (ит.).

¹²⁴ умеренно быстро (ит.).

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросилась на глубокое и серьезное изучение русской истории.

Другая – в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую *застольную* революцию была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Енфантен и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии.

С одной стороны, *освобождение женщины*, призывание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с равным.

С другой – оправдание, *искупление плоти*, *réhabilitation de la chair*.¹²⁵

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, – мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное крещение плоти есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты – на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало, в свою очередь, и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но укрепленный, пережитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указали над головой судьи завешенную икону после революции 1830 года. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет?

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду – через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно расстаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят через всю историю, через все перевороты, через многочис-

¹²⁵ реабилитация плоти (фр.).

ленные партии и кружки, состоящие из десяти юношей. Одна представляет логику, другая – историю, одна – диалектику, другая – эмбриогению. Одна из них *правее*, другая – *возможнее*.

О выборе не может быть и речи; обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, она влечет невольно; кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагательности, не о том – легче или тяжелее будет, тот ищет истины и неумолимо, нелюбезно проводит начала, как сен-симонисты некогда, как Прудон до сих пор.

Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, *либералы* смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой сен-симонизм поставил рубеж между мной и Н. А. Полевым. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко претворяющего всякую пищу; он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса – и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещению «Телеграфа».

Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, менявшийся, как хамелеон, при всей живости ума, не мог понять сен-симонизма. Для нас сен-симонизм был откровением, для него – безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколько я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентом, он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него.

Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне:

– Придет время, и вам, в награду за целую жизнь усилий и трудов, какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: «Ступайте прочь, вы отсталый человек».

Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперед он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом.

Вы знаете, что с ним было потом, – он принялся за «Парашу Сибирячку»...

Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на *многих других!*..

ПРИБАВЛЕНИЕ

А. ПОЛЕЖАЕВ

В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об А. Полежаеве.

Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим, написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя «Онегина». В ней, не стесняя себя приличиями, шутивным тоном и очень милыми стихами задел он многое.

Осенью 1826 года Николай, повесив Пестеля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Для других эти торжества бывают поводом амнистий и прощений;

Николай, отпраздновавши свою апотеозу, снова пошел «разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu.¹²⁶

Тайная полиция доставила ему поэму Полежаева...

И вот в одну ночь, часа в три, ректор будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.

Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет – но на этот раз уж прямо к государю.

Князь Ливен оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то, что был шестой час утра, – и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.

– Ты ли, – спросил он, – сочинил эти стихи?

– Я, – отвечал Полежаев.

– Вот, князь, – продолжал государь, – вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух, – прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

– Я не могу, – сказал Полежаев.

– Читай! – закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. «Никогда, – говорил он, – я не видывал „Сашку“ так переписанного и на такой славной бумаге».

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

– Что скажете? – спросил Николай по окончании чтения. – Я положу предел этому разврату, это все еще *следы, последние остатки*; я их искореню. Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал:

– Превосходнейшего поведения, ваше величество.

– Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

– Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

– Я должен повиноваться, – отвечал Полежаев. Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:

«От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне *писать*», – поцеловал его в лоб.

Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе, так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал, его разбудили, он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

– Это он?

¹²⁶ праздника господня (фр.).

– Он, ваше сиятельство.

– Что же! доброе дело, послужите в военной; я все в военной службе был – видите, дослужился, и вы, может, будете фельдмаршалом...

Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.

Прошли года три. Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое – тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал, и бежал для того, чтоб лично подать просьбу. Он вел себя неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем; разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата, в цепях, пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй; приговор послали к государю на утверждение.

Полежаев хотел лишиться себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы:

– Я сам отточил его.

Государь не велел наказывать Полежаева.

Тогда-то написал он свое превосходное стихотворение;

Без утешений
Я погибал.
Мой злобный гений
Торжествовал...

Полежаева отправили на Кавказ; там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломило его; сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.

Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его: он пил для того, чтоб забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе».

Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице.

Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами, она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и проч. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева, – он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.

После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, бедный страдалец представлен в офицерских эполетах – он был произведен в больнице.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Тюрьма и ссылка (1834–1838)

ГЛАВА VIII

Пророчество. – Арест Огарева. – Пожар. – Московский либерал. – М. Ф. Орлов. – Кладбище

Раз весною 1834 года пришел я утром к Вадиму, ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я вошел наверх в небольшую комнату его и сел писать.

Дверь тихо отворилась, и вошла старушка, мать Вадима; шаги ее были едва слышны, она подошла устало, болезненно к креслам и сказала мне, садясь в них:

– Пишите, пишите, – я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя, дети пошли гулять, внизу такая пустота, мне сделалось грустно и страшно, я посижу здесь, я вам не мешаю, делайте свое дело.

Лицо ее было задумчиво, в нем яснее обыкновенного виднелся отблеск вынесенного в прошедшем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий.

Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири.

– Много, много пришлось мне перестрадать, что-то еще придется увидеть, – прибавила она, качая головой, – хорошего ничего не чувствует сердце.

Я вспомнил, как старушка, иной раз слушая наши смелые рассказы и демагогические разговоры, становилась бледнее, тихо вздыхала, уходила в другую комнату и долго не говорила ни слова.

– Вы, – продолжала она, – и ваши друзья, вы идете верной дорогой к гибели. Погубите вы Вадю, себя и всех; я ведь и вас люблю, как сына.

Слеза катилась по исхудалой щеке.

Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила:

– Не сердитесь, у меня нервы расстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для вас нет другой, а если б была, вы все были бы не те. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я так много перенесла несчастий, что на новые недостает сил. Смотрите, вы ни слова не говорите Ваде об этом, он огорчится, будет меня уговаривать... вот он, – прибавила старушка, поспешно утирая слезы и прося еще раз взглядом, чтоб я молчал.

Бедная мать! Святая, великая женщина!

Это стоит корнелевского «qu'il mourût». ¹²⁷

Пророчество ее скоро сбылось; по счастью, на этот раз гроза пронеслась над головой ее семьи, но много набралась бедная горя и страху.

– Как взяли? – спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтоб знать, сплю я или нет.

– Полицмейстер приезжал ночью с квартальным и казаками, часа через два после того, как вы ушли от нас, забрал бумаги и увез Николая Платоновича.

¹²⁷ ему следовало умереть (фр.).

Это был камердинер Огарева. Я не мог понять, какой повод выдумала полиция, в последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал... и отчего же его взяли, а меня нет?

Сложив руки нельзя было оставаться, я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастье, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие.

Бродя по улицам, мне наконец пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может, и помочь. Он жил страшно далеко, на даче за Воронцовским полем; я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был час седьмой утра.

Года за полтора перед тем познакомились мы с В., это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных; ссылки он не испытал, но слава оставалась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен.

В. был лет десять старше нас и удивлял нас своими практическими замечаниями, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно; мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он всё – новые романы, трактаты, журналы, стихи и, сверх того, сильно занимался зоологией, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг.

Либерализм его был чистейший, трехцветной воды, левого бока между Могеном и генералом Ламарком.

Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей, от Гемпдена и Бальи до Фиески и Арман Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет, несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей – набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета.

Мы с завистью посматривали на его опытность и знание людей; его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на делового революционера, как на государственного человека *in spe*.¹²⁸

Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свиданья с князем, его камердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок и *au rez-de-chaussee*,¹²⁹ огромная дверь вела на террасу и в сад. День был жаркий, из сада пахло деревьями и цветами, дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень... а в тюрьме-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то странным одушевлением позвал меня с террасы.

– Что такое? – спросил я.

– Да пожалуйста сюда, взгляните.

Я вышел, не желая его обидеть, на террасу – и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все они загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью.

Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая: «Славно забирает, вот и этот дом направо загорится, непременно загорится».

¹²⁸ в будущем (лат.).

¹²⁹ в нижнем этаже (фр.).

Пожар имеет в себе что-то революционное, он смеется над собственностью, нивелирует состояния. Камердинер инстинктом понял это.

Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот день выгорело Лефортово. Это было начало тех зажигательств, которые продолжались месяцев пять; об них мы еще будем говорить.

Наконец приехал и В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил;

– Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол...

– Прежде, нежели посадят нас на кол, – отвечал я, – боюсь, чтоб не посадили на цепь.

Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?

– Полиция, – что вы говорите?

– Я за этим к вам приехал. Надобно что-нибудь сделать, съездите к князю, узнайте, в чем дело, попросите мне дозволение его увидеть.

Не получая ответа, я взглянул на В., но вместо него, казалось, был его старший брат, с посоловелым лицом, с опустившимися чертами, – он ахал и беспокоился.

– Что с вами?

– Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет... да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно, – ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят; эдак шутить нельзя, я знаю, что такое казематы.

– Поедете вы к князю?

– Помилуйте, зачем же это? Я вам советую дружески: и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны – мой искренний совет: держите себя в стороне; тормошиться как хотите, Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно, самовластье, – какие права, какая защита; есть, что ли, адвокаты, судьи?

На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал.

Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже Сенатор был налицо, рылся в моих книгах, отбирал, по его мнению, опасные и был недоволен.

На столе я нашел записку от М. Ф. Орлова, он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт хотя меня и проучил, но все же: попытка – не пытка и спрос – не беда.

Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого «Союза благоденствия», и если он не попал в Сибирь, то это не его вина, а его брата, пользующегося особой дружбой Николая и который первый прискакал с своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря. Орлов был послан в свои деревни, через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является поползновение переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание, и я, вроде *captatio benevolentiae*,¹³⁰ стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орлов поспорил – потом согласился.

Мое кокетство удалось, мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность, я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни.

Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стучался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала.

¹³⁰ заискивания (лат.).

После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтись в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни; в одиночестве на них нападает хандра, они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтоб раскрыть все эти несуществующие козни.

Им надобна, как воздух, сцена и зрители; на сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск, им надобно произносить речи, слышать возражения врагов, им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности – без этих конфортивных¹³¹ они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки. Таков Ледрю-Роллен, который, кстати, и лицом напоминает Орлова, особенно с тех пор как отрастил усы.

Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюст – pendant¹³² бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четверо-угольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состарившегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в Мазепе.

От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинками, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать «о кредите», – нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку.

Смертельно жаль было видеть Орлова, усилившегося сделаться ученым, теоретиком. Он имел ум ясный и блестящий, но вовсе не спекулятивный, а тут он путался в разных новоизобретенных системах на давно знакомые предметы, вроде химической номенклатуры. Всё отвлеченное ему решительно не удавалось, но он с величайшим ожесточением возился с метафизикой.

Неосторожный, невоздержный на язык, он беспрестанно делал ошибки; увлекаемый первым впечатлением, которое у него было рыцарски благородно, он вдруг вспоминал свое положение и сворачивал с полдороги. Эти дипломатические контрмарши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры; и он, заступив за одну постромку, заступал за две, за три, стараясь выправиться. Его бранили за это; люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия, и отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера. Что тут винить с натянутой регуловской точки зрения человека, – надобно винить грустную среду, в которой всякое благородное чувство передается, как контрабанда, под полой да затворивши двери; а сказал слово громко – так день целый и думаешь, скоро ли придет полиция...

Обед был большой. Мне пришлось сидеть возле генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевский был тоже в опале с 14 декабря; сын знаменитого Н. Н. Раевского, он мальчиком четырнадцати лет находился с своим братом под Бородином возле отца; впоследствии он умер от ран на Кавказе. Я рассказал ему об Огареве и спросил, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать.

Лицо Раевского подернулось облаком, но это было не выражение плаксивого самосохранения, которое я видел утром, а какая-то смесь горьких воспоминаний и отвращения.

– Тут нет места хотеть или не хотеть, – отвечал он, – только я сомневаюсь, чтоб Орлов мог много сделать; после обеда пройдите в кабинет, я его приведу к вам. Так вот, – прибавил он, помолчав, – и ваш черед пришел; этот омут всех утянет.

¹³¹ подкрепляющих средств (от фр. confortatif).

¹³² под статью (фр.).

Расспросивши меня, Орлов написал письмо к князю Голицыну, прося его свиданья.

– Князь, – сказал он мне, – порядочный человек; если он ничего не сделает, то скажет, по крайней мере, правду.

Я на другой день поехал за ответом. Князь Голицын сказал, что Огарев арестован по высочайшему повелению, что назначена следственная комиссия и что матерьяльным поводом был какой-то пир 24 июня, на котором пели возмутительные песни. Я ничего не мог понять. В этот день были именины моего отца; я весь день был дома, и Огарев был у нас.

С тяжелым сердцем оставил я Орлова; и ему было нехорошо; когда я ему подал руку, он встал, обнял меня, крепко прижал к широкой своей груди и поцеловал.

Точно будто он чувствовал, что мы расстаемся надолго.

Я его видел с тех пор один раз, ровно через шесть лет. Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение, знал расстройство дел – и не видел выхода. Месяца через два он умер; кровь свернулась в его жилах.

... В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. В впадине лежит умирающий лев; он ранен насмерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет; его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд; все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь.

Раз как-то, долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...

Ехавши от Орлова домой мимо обер-полицмейстерского дома, мне пришло в голову попросить у него открыто дозволение повидаться с Огаревым.

Я отроду никогда не бывал прежде ни у одного полицейского лица. Меня заставили долго ждать, наконец обер-полицмейстер вышел.

Мой вопрос его удивил.

– Какой повод заставляет вас просить дозволение?

– Огарев – мой родственник.

– Родственник? – спросил он, прямо глядя мне в глаза. Я не отвечал, но так же прямо смотрел в глаза его превосходительства.

– Я не могу вам дать позволения, – сказал он, – ваш родственник *au secret*.¹³³ Очень жаль!

...Неизвестность и бездействие убивали меня. Почти никого из друзей не было в городе, узнать решительно нельзя было ничего. Казалось, полиция забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволочло серыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, светлый луч сошел на меня.

Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня.

Первый раз в моем рассказе является женский образ... и, собственно, один женский образ является во всей моей жизни.

Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли перед ним, как туманные картины; новых, других не пришло.

Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть моя улеглась.

– До завтра, – сказала она и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы.

– До завтра, – ответил я... и долго смотрел вслед за исчезающим образом ее.

Это было девятнадцатого июля 1834.

¹³³ под строгим арестом (фр.).

ГЛАВА IX

Арест. – Добросовестный. – Канцелярия Пречистенского частного дома. – Патриархальный суд

... «До завтра», – повторял я, засыпая... на душе было необыкновенно легко и хорошо. Часу во втором ночи меня разбудил камердинер моего отца; он был раздет и испуган.

– Вас требует какой-то офицер.

– Какой офицер?

– Я не знаю.

– Ну, так я знаю, – сказал я ему и набросил на себя халат.

В дверях залы стояла фигура, завернутая в военную шинель; к окну виднелся белый султан, сзади были еще какие-то лица, – я разглядел казацкую шапку.

Это был полицмейстер Миллер.

Он сказал мне, что по приказанию военного генерал-губернатора, которое было у него в руках, он должен осмотреть мои бумаги. Принесли свечи. Полицмейстер взял мои ключи; квартальный и его поручик стали рыться в книгах, в белье. Полицмейстер занялся бумагами; ему все казалось подозрительным, он все откладывал и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

– Я вас попрошу покамест одеться: вы поедете со мной.

– Куда? – спросил я.

– В Пречистенскую часть, – ответил полицмейстер успокаивающим голосом.

– А потом?

– Дальше ничего нет в приказании генерал-губернатора. Я стал одеваться.

Между тем испуганные слуги разбудили мою мать; она бросилась из своей спальни ко мне в комнату, но в дверях между гостиной и залой была остановлена казаком. Она вскрикнула, я вздрогнул и побежал туда. Полицмейстер оставил бумаги и вышел со мной в залу. Он извинился перед моей матерью, пропустил ее, разругал казака, который был не виноват, и воротился к бумагам.

Потом взошел моей отец. Он был бледен, но старался выдержать свою бесстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Мать моя сидела в углу и плакала. Старик говорил безразличные вещи с полицмейстером, но голос его дрожал. Я боялся, что не выдержу этого *à la longue*,¹³⁴ и не хотел доставить квартальным удовольствия видеть меня плачущим.

Я дернул полицмейстера за рукав.

– Поедемте!

– Поедемте, – сказал он с радостью.

Отец мой вышел из комнаты и через минуту возвратился; он принес маленький образ, надел мне на шею и сказал, что им благословил его отец, умирая. Я был тронут, этот религиозный подарок показал мне меру страха и потрясения в душе старика. Я стал на колени, когда он надевал его; он поднял меня, обнял и благословил.

Образ представлял, на финифти, отсеченную голову Иоанна Предтечи на блюде. Что это было – пример, совет или пророчество? – не знаю, но смысл образа поразил меня.

Мать моя была почти без чувств.

Вся дворня провожала меня по лестнице со слезами, бросаясь целовать меня, мои руки, – я заживо присутствовал при своем выносе; полицмейстер хмурился и торопил.

¹³⁴ долго (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.